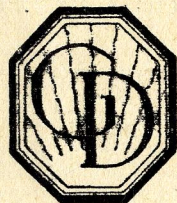




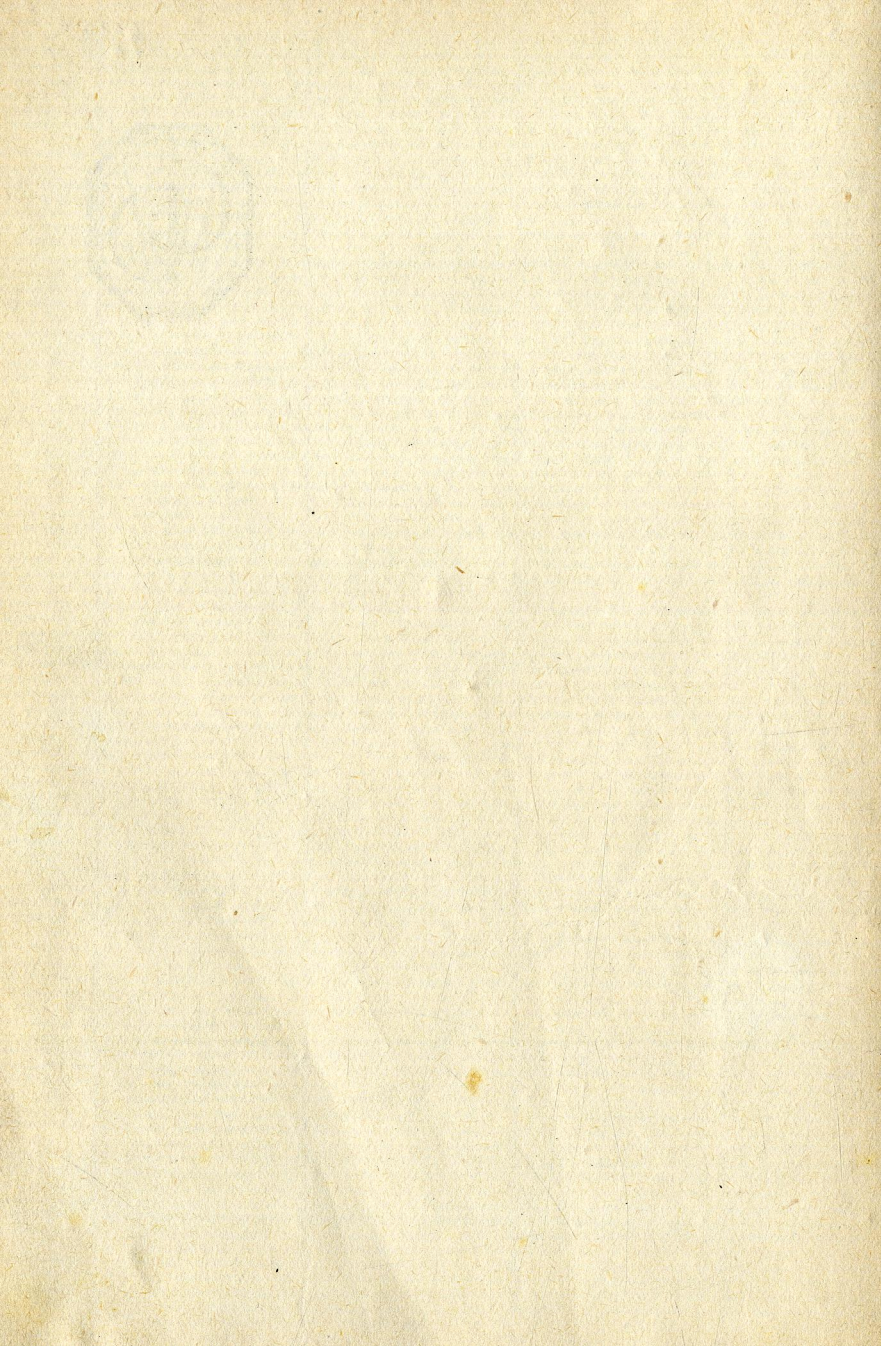
4.

695

75



1

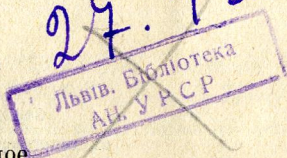


БИБЛИОТЕКА НОВѢЙШЕЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Томъ XLII

Александръ Амфитеатровъ

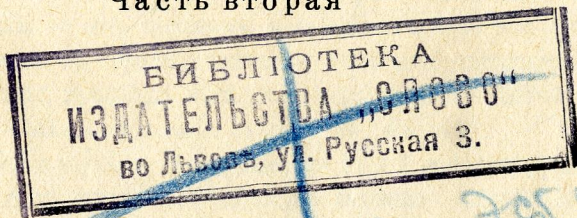
МАРЬЯ ЛУСЬЕВА

РОМАНЪ



Издание седьмое,
пересмотрѣнное и значительно дополненное.

Часть вторая



Св. св. 2и. Эф. и. лав
сер 1949

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО „ГРАМАТУ ДРУГЪСЪ“
РИГА, ПЕТРОЦЕРКОВНАЯ ПЛОЩАДЬ 37

WS(2-P)53-644

Эта книга напечатана
въ типографіи „ГРАМАТУ ДРАУГСЪ”
Рига, Петроцерковная площадь 25-27

Львівська наукова бібліотека
імені Шевченка

№ 2536

Часть вторая.

БУЛАСТИХА.

XLI.

Дѣло Прасковьи Семеновны Буластовой было устроено на совсѣмъ иныхъ основаніяхъ, чѣмъ у Рюлиной. Она не признавала женщину своею, покуда не забирала ее къ себѣ въ домъ, подъ прямой гаремный надзоръ.

— Вся должна быть у меня въ кулакѣ! Нѣтъ у тебя своего! Кускомъ моя!*)

Дѣло было мельче и несравненно сѣрѣе рюлинскаго, но шире. Домовъ, то есть квартиръ, населенныхъ невольницами, Буластова имѣла въ городѣ множество, не меньше пятнадцати, но все маленькія, рублей по четыреста, по шестисотъ годовыхъ, и только три большія, слывшія въ дѣлѣ „корпусами“.

Самую обширную, но опять таки не цѣлый особнякъ, какъ Рюлина, но лишь длинный бель-этажъ занимала сама Прасковья Семеновна, съ самыми ходивыми и избранными изъ кабальницъ. Тутъ былъ центръ ея торговли и всего хозяйства. Помѣщеніе было выбрано очень ловко: на бойкой площади противъ одного изъ самыхъ посѣщаемыхъ петербургскихъ театровъ, а, между тѣмъ, уединенное и отдѣленное отъ столичной жизни, словно тюрьма. Подвалъ и нижній этажъ подъ „корпусомъ“ были заняты рядомъ нежилыхъ торговыхъ складовъ и

*) Кузнецовъ, 32,

магазиновъ. Въ третьемъ этажѣ утѣздилось, по долгосрочному контракту, правленіе какого-то „Анонимнаго общества перажиганія печорскихъ лѣсовъ въ древесный уголь“, пустовавшее съ пяти часовъ дня до одиннадцати утра, да и въ приемные часы свои не слишкомъ посѣщаемое. Выше обитала хозяйка моднаго заведенія, рабски связанная съ Буластовой постоянною на нее работою, а въ пятомъ этажѣ ютились захудалыя меблированныя комнаты, которыя Буластовой очень хотѣлось пріобрѣсти, но хозяинъ, еврей съ правомъ жительства, былъ себѣ на умѣ и не уступалъ дешево. Сосѣдство Буластихина вертепа, когда въ немъ гуляли Гостинный Дворъ или Каланшиковская Пристань, давало большой доходъ также и этимъ „меблирашкамъ“. При переполненіи спаленъ въ „корпусъ“, парочки искали пристанища на верху, и номера ходили въпятеро, въдесятеро своей обычной цѣны.

Другой „корпусъ“*), поменьше, находился на Пескахъ и управлялся сестрою Буластовой, Пелагеей Семеновной, бабой старой, глупой и вздорной, но не злой. Буластиха была тѣсно связана съ нею въ капиталѣ и потому не могла выжить ее изъ дѣла, хотя очень къ тому стремилась, считая сестру душой безтолковой, нерасчетливой и черезчуръ мягкой:

— Балуешь ты мнѣ, Пелагея, дѣвицъ!

Дѣйствительно, попасть въ корпусъ къ Пелагеѣ Семеновнѣ опытныя кабальницы почитали за отдыхъ. Но, въ то же время, этакое перемѣщеніе было зловѣщимъ признакомъ — вродѣ перевода офицера изъ гвардіи въ инвалидную команду. На Пески сплавлялись изъ главнаго корпуса и наиболѣе дѣйственныхъ квартиръ неудачныя новенькія и падающія въ спросѣ, устарѣвшія, надоѣвшія, притягдѣвшіяся: товаръ, что

О соединеніи нѣсколькихъ притоновъ въ одну руку, съ приказчицами на отчетъ. Кузнецовъ, 32. Генне-Амъ-Ринъ, (случай Маріи Джеффери), 114. passim.

не идетъ съ рукъ по хорошей цѣнѣ, — значить, пускай его въ дешевую распродажу.

Третьимъ „корпусомъ“, маленькимъ особнякомъ на Петербургской Сторонѣ командовала та самая Анна Тихоновна, что впоследствии привезла Машу Лусьеву, подъ эгидою баронессы Ландіо, въ городъ К. Этотъ корпусъ слылъ между кабальницами подъ выразительными именами „Сибири“, „Сахалина“ и даже „Ада“. Тутъ было штрафное отдѣленіе, дисциплинарный батальонъ Буластихина дѣла. Къ Аннѣ Тихоновнѣ, степенной и благовидной вдовицѣ, опрятной, учтивой, съ лицомъ и манерами почтенной нянюшки добрыхъ старыхъ временъ, ссылаемыми нибудь проказами, — и тоже второй и третій сортъ: лись на исправленіе женщины, виноватыя непокорствомъ или такія, которыми Прасковья Семеновна съ Ѳедосеей Гавриловной не настолько дорожили, чтобы утруждать себя ихъ собственноручною дрессировкою. Отсюда ясно, каковъ характерецъ тайлся подъ патріархальною наружностью кроткой вдовицы. Сама она, впрочемъ, часто бывала въ разъѣздахъ, такъ какъ считалась специалисткою по торговлѣ на провинцію и то и дѣло конвоировала какихъ нибудь красавицъ куда нибудь на мѣстный заказъ. А на время ея отлучекъ бразды правленія „Сибирию“, „Сахалиномъ“ или „Адомъ“, принимала тамошняя корпусная кухарка Лукерья — уже совершенно каторжный типъ. Такъ что штрафныя набальницы ужъ и не знали, когда имъ живется хуже — при самой управительницѣ или при замѣстительницѣ..

Въ корпусахъ — особенно, въ главномъ — имѣлись просторныя залы, столовыя, зеркальныя комнаты. Здѣсь можно было гостю потанцовать, поужинать, устроить афинскую ночь съ мѣстнымъ женскимъ персоналомъ или вызываемымъ изъ маленькихъ квартиръ, — главной доходной статьи Буластихина дѣла. Въ каждой изъ нихъ жило по двѣ, много по три жен-

щины, подъ фирмою какой либо приличной на видъ и по паспорту дуэньи, родъ той же баронессы Дандіо, — на нее писалось помѣщеніе по домовою книгѣ.*) Иногда эта госпожа бывала дѣйствительною распорядительницею квартиры, то есть отвѣтственною приказчицею на отчетъ; иногда, въ квартирахъ побойчѣе, къ ней приставлялась контролерша, подъ видомъ экономки. Прислуга давалась въ зависимости отъ величины и торговаго значенія квартиры. Были такія, гдѣ полагались и хозяйка, и экономка, и кухарка, и горничная, а были и такія, гдѣ всѣ четыре должности совмѣщались въ одной хозяйкѣ, при помощи самыхъ надзираемыхъ ею женщинъ, которыхъ, конечно, въ такомъ случаѣ, полагалось и число минимальное, и качество попроще.

Наконецъ, были укромные пріюты, — преимущественно на городскихъ окраинахъ и на зимнихъ дачахъ въ пригородахъ, — гдѣ вовсе не селилось женщинъ, а были только сторожъ съ сторожихою, обязанные держать помѣщеніе въ порядкѣ и теплѣ на случай наѣзда изъ города особенно таинственныхъ парочекъ, о чемъ они предупреждались изъ главнаго корпуса по телефону. Это была дорогая ипрushка, Буластиха шибко на ней наживалась. Но вообще то квартиры были ея мелочными лавочками для дешевой торговли враздробь, тогда какъ главный корпусъ являлъ собою нѣчто вродѣ универсальнаго магазина, или клуба.

XLII.

Защита квартирныхъ женщинъ противъ случайностей ихъ опаснаго промысла выражалась въ „жильцахъ“ — колоссальныхъ парняхъ, которые будто бы нанимали отъ хозяйки свободную комнату съ мебелью. Въ дѣйствительности же сами еще получали жалованье, впрочемъ, ничтожное, такъ какъ

*) Кузнецовъ, 32. Генне-Амъ-Ринъ, 117.

главный расчетъ службы былъ на подачки отъ гостей, да и женщины понуждались дѣлиться съ „жильцомъ“ изъ денегъ, переплававшихъ имъ „подъ подушку“ и „на булавки“. Когда въ квартиркахъ появлялись гости, „жильцы“ обязаны были обслуживать имъ за лакеевъ, а въ случаѣ дебоша и буйства переходить на роли тѣлохранителей-вышибалъ. Само собою разумѣется, что вербовалась эта доблестная гвардія отнюдь не изъ кандидатовъ на Монтіоновскую премію за добродѣтель.*)

— Помните, дьяволы, уговоръ: чтобы у меня ни грабежа, ни кражъ!.. а ни-ни! — грозила Буластиха. — Ежели даже гость твоихъ фокусовъ-мошенствъ не примѣтитъ, но я провѣдаю, то въ Сибири сгніешь.. А ужъ отъ меня-то, братъ, не спрячешься: я васъ всѣхъ насквозь, да еще на три аршина подъ тобою въ землю вижу!.. И не за кражу свою сгніешь, а за то — за свое... за другое, прежнее... Понялъ? У каждого изъ васъ, голубчики, довольно есть такого, чтобы въ тюрьмѣ сидѣть. Моими милостями отъ кандаловъ бѣгаете. Ты, мордатый, не гляди, что въ сыщикахъ служишь: зазнаешься, — я на тебя укоротъ найду. Сыщикъ — не святой митрополитъ-чудотворецъ. Тоже вашимъ братомъ остроги-то конопатятъ предостаточно. А каково бываетъ сыщику среди шпанки осторожной, — знаешь? Живъ не будешь, которжная твоя душа!.. Вотъ ты и соображай!.. Когда счета подаешь, — приписывай, сколько влѣзетъ: что сверхъ моихъ марокъ возьмешь, первое счастье — экономкино, второе — хозяйкино, третье — твое. Но воровать — Боже сохрани! У меня служи по чисту, по благородну...

Трепетали ея всѣ, потому что мясистый кулакъ ея, въ случаѣ провинности, не разбиралъ возраста и пола, и усастья

*) Ломброзо, 429—430. Parent Duchatelet. Frégier. Cutrera. „Всемирный Вѣстникъ“ 1903 (статья о петербургскихъ тулгангахъ).

морды „жильцовъ“ обливались кровью изъ „хрюкала“ такъ же легко и покорно, какъ и нѣжное личико беззащитной семнадцатилѣтней дѣвочки, не угодившей своему „гостю“.

— У меня, батюшка отецъ родной, для гостя — рай, — убѣждала Буластиха своихъ пріятелей-кліентовъ: — ни тебя опоять, ни тебя окурять, часовъ-кольцовъ не снимуть, бумажника въ карманѣ не тронуть...

— Это хорошо, мать командирша, что совѣсть помнишь!

Буластова ухмылялась.

— Ну, совѣсть!... Гдѣ въ нашемъ дѣлѣ совѣстью заниматься?.. Не то чтобы совѣсть, а — не разсчитать. Съ очень толстымъ бумажникомъ ты, купецъ милый, какъ будучи чело-вѣкъ торговой души, ко мнѣ въ оольшой разгулъ не поѣдешь. А тыщу, другую съ тебя снять — рукъ марать не стоитъ: коли въ задоръ войдешь, самъ больше оставишь!.. Кабы на сто тысячъ, на пятьдесятъ, ну — на двадцать на пять, — это еще куда бы ни шло руку закинуть! А что менѣ, — скандалъ на тое же сумму влетитъ. Полиція, да судъ, да газетишки... погибель!

Шантажныя оковы, которыми удерживала своихъ невольницъ Рюлина, Буластова цѣнила очень мало.

— Бароная затѣя, и страхъ отъ нея барскій, — объясняла она, — Когда дѣвица въ моихъ рукахъ, я ее завсегда такъ расположить могу, что, окромя этого самаго, никакой другой угрозы супротивъ нея уже и не требуется. Чего ее старымъ страдомъ стращать? Живетъ у меня, вотъ те и весь страмъ... довольно! Это у Рюлиной subtilности-миндальности, потому — графы, бароны, калегварды... А меня, батюшки, кормятъ Калашниковская пристань да Гостинный дворъ. Моя публика — хо-хо-хо!.. Уходи отъ меня, пожалуй: Рюлина со всѣми своими пакетами того не сдѣлаетъ, какъ я тебя безъ па-

кета по всей Рассеѣ затравлю!.. Отъ меня — ежели не на выкупъ, такъ — на бланку, въ разрядъ, по книжкѣ... другихъ ходовъ нѣтъ.

По этому разсужденію, невольницъ на „пакетъ“ у нея подъ начальствомъ имѣлось, дѣйствительно, немного. Преобладающее большинство составляли просто тайныя проститутки, по ремеслу, скрываемыя и скрывающіяся отъ полиціи. Элементъ, которымъ Рюлина брезговала, здѣсь почитался главнымъ въ дѣлѣ.

Затворничество, — внѣ выѣздовъ на „работу“, всегда подъ присмотромъ какой-либо вѣрной дуэньи, — соблюдалось строжайшее.*) Шпіонство было развито стихійно. Хозяйки шпіонили за эконошками, эконошки за хозяйками, „жилыцы“, прислуга, женщины — всѣ были связаны взаимнымъ наблюденіемъ и доносами. Буластиха знала всегда и все по всей своей сѣти. Память у нея была огромная, — точно губка, всасывающая сплетни. На невольницъ она принимала жалобы ото всѣхъ, невольницы жаловались съ успѣхомъ лишь, когда ихъ дурно кормили: на этотъ счетъ Буластиха была очень внимательна и предусмотрительна,**) — всѣ остальные претензіи она пропускала мимо ушей, а надъ иными прямо издѣвалась:

— Говоришь, — эконошка по щекамъ тебя прибила? Больно?

— Ужасно больно, Прасковья Семеновна.

Трахъ!!!.. у дѣвушки сыпятся искры изъ глазъ отъ неожиданной оглушительной пощечины.

— Такъ больно или еще больнѣе? — хохочетъ Буластиха.

— Прасковья Семеновна! — бросается къ ней дѣвушка,

*) *Генне-Амъ-Ринъ*, 108, 109.

**) *Кузнецовъ*, 37.

— не велите „жилицу“ ко мнѣ приставать... Я его видѣть не могу, а онъ бить грозится, насильно приказываетъ...

— Дуракъ, что еще не бьетъ, — хладнокровно возражала Буластиха. — Дура! Убудетъ тебя, что ли?

— Заступитесь... Противенъ онъ мнѣ!..

— Ну, да! Только и есть мнѣ дѣла, что твои капризы разбирать. Ты, дѣвушка, съ „жилицомъ“ не вздорь. Жилецъ вашей сестрѣ человѣкъ завсегда самый нужный. Жилцу угоди.

Невольницы въ корпусѣ считались болѣе почетными, чѣмъ невольницы мелкихъ квартироекъ. При себѣ Прасковья Семеновна поселяла тѣхъ, которыми наиболѣе дорожила, но ея отвратительный, свирѣпый характеръ дѣлалъ это нерадостное отличіе почти наказаніемъ.

При вступленіи Мамы въ корпусѣ жило пять дѣвушекъ, изъ нихъ ни одной интеллигентной. Роль примадонны, за отсутствіемъ „Княжны“, разыгрывала великолѣпная волжская красавица Нимфодора, бѣлотѣлое созданіе, съ глазами рѣпою, которое никакъ не могло запомнить собственнаго своего имени. При первомъ знакомствѣ съ нею Мамы, Нимфодора была въ слезахъ: ей только что досталось отъ хозяйки, — зачѣмъ была дура-дуροю при деликатномъ гостѣ?

— И грить этто онъ, злодѣй, — всхлипывала Нимфодора предъ Машею и хорошенькою, какъ молодой хищный звѣрь, гибкою, черною, глазастою, знойною и опасною еврейскою Фраскитою, — и грить онъ этто мнѣ, голубушки мои: „Такъ, стало быть, грить, сударыня, должонъ я понимать васъ изъ благородныхъ?...“. Я ему все, какъ Федосья Гавлиловна учила, сичасъ объясняю: „А вотъ вамъ, кавалеръ, какъ Богъ святъ, Мать Пречистая Богородица, что тятенька у меня майоръ, а маменька... какъ ее, песь-дьяволъ? — адъютантша“. — „Удивительно!“ грить. Я ему на это: „А, какъ есть, ничего не

удивительно, потому что, стало быть, у моего родителя лента через все плечо и, выходить, остаюсь я теперича предъ вами полковницкая дочь“.

— Это, — про ленту-то, — тоже Федосья Гавриловна тебя учила? — язвила и хохотала хорошенькая Фраскита.

Нимфодора устала на нее свои унылые глаза, какъ телка, созерцающая новый заборъ.

— Н-н-не... про ленту я сама...

— Зачѣмъ же?

— А гадала, что баско... Мать-кормилица! Что жъ мнѣ? — ужъ и слова своего не скажи? Чать, я не для худого, своей же хозяйкѣ стараюсь...

— Ну! ну! — наслаждалась злорадствомъ Фраскита.

— Ну... онъ, аспидъ холодный, все вида не подаетъ, въ сурьезѣ сидить, комедь ломаетъ... — „А образованіе, грить, свое — вы, я въ томъ увѣренный, въ ниверситетѣ имѣли?“ Я, — какъ и что въ томъ разѣ сказать, нѣ учена, — политично отвѣчаю ему въ обинякъ, съ учтивостью: „Это, милостивый государь, не отъ насъ зависимое, а какъ тятенька съ маменькою предѣлать“. — „Очень похвально, грить, милостивая государыня, правильное имѣете разсужденіе, одобряю. А имечко ваше святое какъ?“ Я, сдѣлавши ему съ пріятностью глазки, натурально запрошаю: „А вамъ на что? Можетъ, это мой тайный секретъ?“. — „Да все же“, грить. — „Ну, зовите хучь Олею“. — „Ну, что Оля: врите все... хороша Оля, да съ ней недоля!.. вы заправское имя скажите!..“. — „А ужъ ежели хотите знать заправское, то зовутъ Помидора...“. А онъ, что же, чортъ зѣвластый? Какъ загогочеть... ровно боевой гусакъ! И сейчасъ же экономку, Раису Михайловну, кличетъ. „Вы бы, грить, плутовки, поддѣльщицы питерскія, свою полковницкую дочь хоть врать складно выучили!.. одно съ вашей стороны ко

мнѣ невниманіе и мошенство! Такъ ужъ только за красоту не увѣчу, да что деньги впередъ заданы“.*)

Двѣ дѣвушки были изъ безличныхъ, но красивыхъ и бойкихъ петербургскихъ нѣмокъ. Пятая и послѣдняя — особа уже лѣтъ тридцати пяти, или казавшаяся на столько по старобразію, превосходно сложенная, хотя и сильно ожирѣлая, — была очень некрасива грубымъ, что называется, носорожымъ лицомъ „кожевеннаго товара“, съ большими бѣлесоватыми глазами и носомъ, изучавшимъ движеніе планетъ на небеси.

— Нѣтъ ничего, что бы Антонина не могла рискнуть! А ругается она какъ органъ! Если заведетъ, будетъ сыпать четверть часа, не передыхая, и все разныя слова!.. Купцы ее за это страсть обожаютъ!**)

Столь исключительными данными объяснялось, почетное не по наружности, мѣсто Антонины въ буластовскомъ дѣлѣ. Кромѣ того у нея былъ чудеснѣйшій контраalto, которымъ она мастерски пѣла подъ гитару цыганскія пѣсни. За этотъ талантъ и за грубую, мужественную развязность, Антонина и между товарокъ занимала привилегированное, господствующее мѣсто. Нѣмки ее обожали и чуть не дрались между собою за близость къ ней. А Антонина обходилась съ ними небрежно и повелительно.

XLIII.

Эта женская компанія приняла Машу не то чтобы враждебно, но съ тѣмъ насмѣшливымъ злорадствомъ, какимъ люди въ скверномъ положеніи сами встрѣчаютъ падающихъ въ него новичковъ: была рюлинская, стала буластовская, значить, не въ гору, а подъ гору, не на поверхность, а ко дну.***)

*) Ср. Кузнецовъ, 37.

**) Кузнецовъ, 26—27. Также въ моихъ „Птичкахъ пѣвчихъ“. Также въ „Лиліяшъ“ (Прологъ),

***) Ломброзо, 412 (Carlier).

— Ты угости барышень на новоселье, — посовѣтовала Лусьева въ первый же день звѣроподобная Ѳедосья Гавриловна. — Скорѣе подружишь.

— Я рада, но денегъ нѣтъ.

— Пустое дѣло: отпущу всего, что спросишь, поставлю на счетъ. Хоть на сто рублей!

Огромною выгодною обитательницъ корпуса передъ квартирными было отсутствіе „жильцовъ“. Мужское населеніе корпуса представляли кучеръ и, по жаргону дома, „слоны“ — два гиганта-лакея, одинъ лѣтъ тридцати пяти, другой уже къ пятидесяти. Кучеръ былъ женатъ на одной изъ горничныхъ корпуса, а гиганты оба, — хотя могли бы поставить себя въ отношеніи невольницъ на ту же ногу, что и жильцы по квартирамъ, и ужъ, конечно, не Прасковья бы Семеновна имъ запретила, — пренебрегали своими возможными привилегіями. Младшій — потому, что былъ безумно и безъ всякаго успѣха влюбленъ въ Фраскиту и, перенося отъ нея тысячи обидъ, насмѣшекъ и непріятностей, не поднималъ даже взгляда на другихъ женщинъ.

— Отъ Ѳедора — Фраскиткина смерть! — пророчила густымъ своимъ голосомъ опытная Антонина.

— Развести бы ихъ? — рекомендовала Ѳедосья Гавриловна.

Прасковья Семеновна презрительно фыркала:

— На кой лядъ? Чтобы энтотъ буйволъ вовсе рехнулся отъ ревности да разъ по десяти на день бѣгалъ ее провождать? Забыла, какъ онъ въ прошлую зиму изломалъ Ваньку Кривую? Того еще не хватало, чтобы „жильцы“ другъ на дружку смертнымъ боемъ шли!

Лусьева никогда ни раньше, ни позже не видала человѣка, такъ страстно влюбленного, какъ Ѳедоръ. Это было настоящее сумасшествіе отъ любви. Онъ совсѣмъ разучился говорить, цѣ-

лыми днями молчалъ и все думалъ. Если Фраскита была у него на виду, онъ не отводилъ отъ нея глазъ. Въ остальное время сидѣлъ въ передней на скамьѣ и тупо смотрѣлъ на носки своихъ сапоговъ, гвоздя мозги одною и тою же больною мыслью.

— Зарѣжетъ тебя Оедька! — всѣ въ одинъ голосъ остерегали Фраскиту.

Она, гордо раздувая сильныя ноздри типичнаго еврейскаго носа, говорила:

— А ну?!

Буластова, дорожа Оедоромъ, увѣщевала его:

— На кой дьяволъ она тебѣ далась?

— Жениться... желаю...

— Нашелъ на комъ! Лучше не выберешь?

— Не желаю.

— Да и какъ женишься? Ты русскій, она еврейка.

— Выкрену.

— А если не захочетъ.

— Въ Турцію увезу, тамъ есть городъ Солоника... Я ужъ знаю, былъ. Тамъ греческіе попы за лиру кого съ кѣмъ хопъ...

— Однако, парень, у тебя это обмозговано!.. — съ почти-тельнымъ любопытствомъ разсматривала его Буластова. — А вдругъ не перевѣнчаютъ?

— Ейную вѣру приму.

— Н-ну-у?!

Буластиха только качала головою.

— А лучше бы ты свое это баловство прекратилъ. Такой прекраснѣйшій молодой человѣкъ и изъ себя картина... Плюнь! Одна она что ли? Среди какихъ красавицъ живешь...

— Не желаю... — утрюмо мурчалъ Оедоръ, изучая носки сапоговъ.

— Ахъ, чортъ бровастый! Ну, хочешь: прикажу, чтобы жила съ тобою?

— Не желаю... чтобы приказывать...

— Тьфу!

Къ „гостямъ“ Оедоръ Фраскиту не ревноваль, а если ревноваль, то хорошо скрываль скрипѣніе своего сердца: ремесло вѣдь! — но ни одинъ „жалецъ“, никто изъ мужчинъ-завсегдатаевъ, часто вхожихъ въ буластовскій вертепъ, не смѣль и подумать объ ухаживаніи за Фраскитою. Классическая трешка, которую корпусный „слонъ“ задалъ жильцу Ванькѣ Кривулѣ, легендарнымъ предостереженіемъ огласилась по всѣмъ квартирамъ.

— Я у васъ бывать не стану! — ораль на самое Буластиху чопорный и франтоватый нѣмецъ, домовый годовой врачъ ея, докторъ Либесвортъ: популярнѣйшій въ своемъ родѣ на весь Петербургъ специалистъ, съ которымъ, однако, паціентки избѣгали раскланиваться при встрѣчахъ. Медицинскимъ надзоромъ этого генія особаго рода буластовскія затворницы были окружены едва ли не съ большею тщательностью, чѣмъ подвергаются ему настоящія регистрованные проститутки...*) Его же услугами предотвращались, рѣдкія въ средѣ этой — невыгодныя для хозяйки, — беременности.***) — Я не могу! Вашъ „слонъ“ дѣйствуетъ мнѣ не-е-е-ервы!.. Ну, что особеннаго въ томъ, если я даже и увлекся? Ну, разумно васъ спрашиваю, — ну что?! А онъ... этакое грубое (докторъ съ отвращеніемъ произнесъ: „грѣбное“) животное!.. Нѣтъ! Я... я... я и гавэ-рять о немъ не хочу!.. Однако, мой цилиндръ стоилъ двадцать пять рублей. Вы, madame Буластова, можете вычестъ тамъ съ него или какъ вамъ угодно... но я ставлю вамъ въ счетъ двадцать пять рублей! Да-съ!

*) *Мартино, 142.*

**) *По Марновской, только 34 проц. Ломброзо, 318.*

— Ты что же, обломъ?! — налетала Прасковья Семеновна на Оедора.

Тотъ смиренно принималъ плюходѣйствіе, но повторялъ:

— Не желаю... чтобы...

— Хоть бы вы, чертовки, отбили его у Фраскитки которая-нибудь! — озлилась Прасковья Семеновна. — Я, Оедоръ, если ты не образумишься, кажись, тряхну стариною, сама за тебя примусь...

— Ваша воля хозяйская, — уныло басилъ созерцатель своихъ сапоговъ, — но токмо я... чтобы въ законный бракъ... желаю...

Другой „слонъ“, — звали его Артамономъ, — былъ человѣкъ дѣлового характера, солидной лакейской складки, читатель газетъ, знатокъ биржевой хроники, скупецъ, мелкій ростовщикъ и въ домѣ, и внѣ дома, человѣкъ съ капиталомъ и съ оудущимъ. Онъ уже четвертый годъ жилъ въ постоянной связи съ „Княжной“, о которой Маша еще у Рюлиной слыхала, какъ о главномъ буластовскомъ козырѣ, держалъ ее въ большомъ повиновеніи и новыхъ побѣдъ не искалъ. Когда Маша вступила въ корпусъ, „Княжна“ была въ отлучкѣ — подъ охраною все той же Анны же Тихонновны, украшала своимъ присутствіемъ Ирбитскую ярмарку.

— Каждую зиму посылаемъ, — повѣствовала Машѣ Оедосья Гавриловна. — Прошлый годъ одиннадцать тысячъ хозяйкиной пользы вышло, да Артамонъ четыре билета купилъ... а чѣмъ Анна Тихоновна и Зоя Маркеловна попользовались, это ужъ ихъ счастье: не расскажемъ! Тоже небось сотъ по семи въ чулкъ подъ пяткою привезли, а то и всее тыщу!.. Вещи „Княжна“ получила... очень значительныя: браслеты, кольца... шубку песцовую... мнѣ чудеснѣйшихъ соболей подарила... Потому — такое — срединное мѣсто, именитое купечество!..

Сибиряки расcейскихъ перешибить хотятъ, а расcейскимъ въ капиталъ уступить амбицію не позволяетъ...

По портрету „Княжна“ Машѣ совсѣмъ не понравилась: узкое, длинное лицо малокровной и ужъ не очень молодой блондинки, съ носомъ, тонкимъ, какъ лезвіе ножа, съ маленькими, неласковыми глазами и слащавою, лживою улыбкою на растянутыхъ губахъ.

— Да! — многозначительно подмигнула Федосья Гавриловна, прочитавъ на лицѣ Маши полное разочарованіе. — Реска не реска, а таки мордальонъ!.. Одинъ носъ на троихъ ростъ, — „Княжнѣ“ весь достался... А зарабатываетъ лучше всѣхъ.*) Потому что — „Княжна“!.. Нашей публикѣ оно, понимаешь, лестно...

XLIX.

„Княжна“ занимала въ корпусѣ недурную комнату съ маленькою прихожею и альковымъ, красиво отдѣланную, — впрочемъ, за ея личный счетъ. Другія женщины ютились въ грязныхъ, тѣсныхъ коморкахъ-спальняхъ, не выдавшихъ ремонта чуть ли не съ легендарныхъ грессеровскихъ временъ. Впрочемъ, лучшихъ логовищъ для сна онѣ — лѣнивыя**), за жирѣлыя, распуценныя — и не требовали. Нужно было именно логовище, а не жилье: постель, чтобы валяться на ней по цѣлымъ днямъ — „до востребованія“, и туалетный столикъ. Никогда ни одна изъ этихъ женщинъ не развлекала себя ни чтеніемъ, ни работою. Надъ руководѣльницами издѣвались***), и первая — сама хозяйка. Шить, вязать, вымыть что-либо изъ бѣлья для самой себя считалось позоромъ, униже-

*) *Шашковъ*, 663. *Ломброзо*, 80, 318.

**) *Елистратовъ*, 16.

***) *Ломброзо*, 433, *Cutrerа*, 25.

ніемъ: на то горничныя, прачки — паріи ручного труда; аристократки труда поломъ смотрѣли на нихъ съ неизмѣримаго высока, полныя трагикомическаго презрѣнія. Лѣнь и неряшество обстановки отражались неряшествомъ лѣнливыхъ, холеныхъ тѣлъ. Подъ бархатомъ и шелкомъ скрывались грязныя юбки; шею мыли подъ большое или малое декольте, глядя по случаю; въ великолѣпныхъ прическахъ не въ диво были насккомыя. *) Все въ притонѣ было нарядно вечеромъ, все грязно и унижительно днемъ. „Гостей“ здѣсь, въ комнатахъ барышень, конечно, не принимали. Для нихъ имѣлся въ передней и парадной части бель-этажа обширный залъ, убранный съ трактирнымъ шикомъ, и три соответственныхъ боковыхъ къ нему покоя, по востребованію превращаемые въ спальни. Если ихъ оказывалось недостаточно, лишнія пары переселялись въ меблированныя комнаты пятаго этажа. При томъ въ смыслѣ „пріема гостей“ корпусъ сравнительно мало работалъ, открывая свое большое помѣщеніе лишь для крупныхъ и многочисленныхъ оргій. Маленькія свиданія Буластова предпочитала устраивать по квартирамъ.

Маша сперва осталась вовсе безъ комнаты.

— Ужъ я тебя, Машенька, попрошу на первыхъ порахъ, покуда отдѣляется помѣщеніе, потѣнись, поживи у Федосы Гавриловны.

Буластиха врала: помѣщеніе было, при томъ отличное, и со временемъ Маша именно его получила. Да и всей „отдѣлки“ потребовалось только открыть изъ комнаты экономки дверь, бывшую на каючѣ и завѣшанную ковромъ съ изображеніемъ двухъ купающихся нимфъ, да передвинуть экономкину слоноподобную кровать къ противоположной стѣнѣ. Но хозяйка, по

*) *Parent Duchatelet*, 135—137.

первоначалу, боялась оставить Машу жить одну въ отдѣльной комнатѣ.

— А вдругъ удавится? вдругъ убѣжить? вдругъ расшибетъ стекла, бросится изъ окна, либо просто устроить скандалъ на цѣлую улицу?

Осторожности ради, Машѣ не было поставлено въ комнатѣ Ѳедосьи Гавриловны даже особой кровати. Экономка, какъ нѣкій церберъ, укладывала Машу на огромный двухспальный одръ къ стѣнѣ и затѣмъ отрѣзывала ее отъ всего міра своею колоссальною тушею, поразительно чуткою во снѣ. Туша храпѣла, видѣла сны, даже бредила, но — чуть Маша открывала глаза, въ тотъ же моментъ, по неизъяснимому сторожевому инстинкту, открывала ихъ и Ѳедосья Гавриловна.

— Спи, бессонница! баюнъ тебя не беретъ!

Комната экономки была просторная, солидная, опрятная. Ѳедосья Гавриловна содержала ее въ большой чистотѣ.

Стѣны усыяны были фотографіями въ рамкахъ, преимущественно женскими. Марья Ивановна признала два-три лица, знакомыя ей по дому Рюлиной, и ей стало какъ то легче: ага моль! значить, не я первая здѣсь, не я и послѣдняя! Надъ пузатымъ комодомъ, крытымъ парусной скатертью, висѣлъ, въ овальной рамѣ, большой портретъ необыкновенно дюжаго офицера въ гусарской формѣ. Вглядѣвшись, Марья Ивановна узнала въ лихомъ гусарѣ не иного кого, какъ хозяйку комнаты, экономку Ѳедосью Гавриловну. Должно быть, она самой себѣ очень нравилась въ этомъ воинственномъ уборѣ, потому что, кромѣ большого портрета, гусары меньшихъ размѣровъ со всѣхъ стѣнъ, то фасомъ, то въ профиль, пучили гигантскую грудь, хватали туго обтянутыми толстѣйшими ляжками, топырили задъ готтентотской Венеры.

Дѣйствительно, Марья Ивановна нашла, что въ мужскомъ костюмѣ „экономочка“ куда пригляднѣе, чѣмъ въ дамскомъ

туалетъ, и природа преподло подшутила надъ нею, сотворивъ ее женщиною: въ мужчинахъ была бы красавецъ не красавецъ, но молодецъ хоть куда. Замѣтивъ, съ какимъ самодовольствомъ экономка показываетъ эти свои изображенія и памятуя, что на лестъ не только звѣроподобные люди, но и крокодилы падки, Марья Ивановна, на всякій случай, немножко сподличала.

— Какая вы здѣсь ичтересная! — воскликнула она, — прелесть, какъ вамъ идетъ... просто, душка, — влюбиться можно!

Федосья Гавриловна самодовольно захохотала и, въ видѣ милостивой ласки, тяжело ударила плѣнницу ладонью между лопатокъ.

— А ты влюбись!

— Нѣтъ, право... безъ шутокъ!... На вашемъ мѣстѣ я всегда бы такъ ходила...

— Хозяйка не позволяетъ, — возразила Федосья Гавриловна съ скрытою грустью, почти со вздохомъ. Да и, конечно... такъ, иной разъ, для мажорада, отчего не пошутить, а воопче не пристало... Экономка не барышня... Это вашей сестрѣ пристойно рядиться во всякіе виды, чтобы завлекать „понтовъ“, а экономка должна соблюдать свою солидность... Ты хоть радугой вышестрись, а мнѣ — темное платье, накладка, передникъ пофрантовитѣй да бантъ на груди...

Какъ большинство женщинъ, промышляющихъ живымъ товаромъ и обслуживающихъ этотъ рынокъ, ни Буластиха, ни Федосья Гавриловна сами никогда проститутками не были, чѣмъ весьма откровенно гордились предъ своими жертвами и чѣмъ, можетъ быть, объяснялось ихъ презрѣніе и жестокость къ жертвамъ. (Очень рѣдкія проститутки, хотя, казалось бы, совершенно утратившія стыдъ въ печальномъ промыслѣ самопродажи, относятся безъ отвращенія къ торговлѣ „живымъ товаромъ“. Лишь незначительная часть такихъ торговекъ выходитъ

изъ среды проститутокъ. Такъ, по даннымъ Кузнецова, въ 1870 году изъ 36 содержательницъ домовъ терпимости въ Москвѣ ранѣе были проститутками только 7).

При развратѣ и жадности Буластихи, конечно, не добродѣтельныя соображенія ее сдерживали. Смолоду она была недурна собой и, на посту хозяйки, случалось ей терпѣть жесточайшія искушенія.

— Мнѣ подлець Широкихъ, — хвастала она, — пьяный чортъ, самодуръ иркутскій, — вотъ въ этой самой залѣ, — десять тысячъ, какъ одну копеечку, вывалилъ на паркетъ, чтобы я съ нимъ пошла вмѣсто Лидки Шарманки... помнишь, Ѳедосья? красавица была, не намъ съ тобой чета... Да, вѣдь, этимъ дьяволамъ, самодурамъ, главное — подай запретное, чего достать нельзя... Сердце перевернулось и кровью обливалось... убила бы его, мерзавца, какъ онъ швырялъ пачками по паркету... Однако, скрѣпилась, выдержала характеръ... Потому что иначе — на завтра — какой же былъ бы здѣсь надъ всѣми мой афтиритетъ? Ферфалленъ ди ганце постройке! Вся дисциплина къ чорту подъ хвостъ!

XLV.

Опредѣленіе Маши на постоянное и столь интимное житіе къ Ѳедосьѣ Гавриловнѣ*) было встрѣчено въ корпусѣ градомъ насмѣшекъ, грязныхъ остротъ и намековъ, которые звѣроподобная экономка принимала съ снисходительною руганью и самодовольными улыбками, а Лусьева — раздражаясь до бѣшенства, до слезъ...

— Оставь. Что тебѣ? Отъ словъ не слиняешь! — угова-

*) *Ломброзо* 319—325. *Parent Duchatelet*, 161, 163. *Martinau. Cutrera*, 30—33. *Канкаровичъ*, 143, 144, 189, 190.

ривала возвратившаяся изъ Ирбита „Княжна“, сразу очень хорошо подружившаяся съ Марьею Ивановною.

— Мнѣ обидно, что врутъ гадости...

— Наплевать!

— Да! Если бы ввали про тебя!

— Успокойся: ввали и про меня, покуда не надоѣло. Въ высокой степени наплевать! Надоѣстъ врать одно и то же, — оставлять въ покоѣ и тебя, начать ѣсть какую-нибудь новенькую. Черезъ эти сплетни нашей сестрѣ обязательно пройти. Я даже совѣтую тебѣ не слишкомъ спорить противъ нихъ. Изъ нихъ тебѣ можетъ быть польза.

Сплетни ей льстятъ. Она слушаетъ, что врутъ, и — будто сердится, а сама надувается отъ радости, какъ индюкъ! — стало быть, и сама будетъ къ тебѣ мягче, чѣмъ къ другимъ, хозяйкины гнѣвъ разобьетъ*), когда понадобится: за ея спиною — какъ за каменною стѣною... Прасковья-то наша не только ее уважаетъ и слушается, а даже и побаивается: ужъ слишкомъ давно работаютъ вмѣстѣ, много общихъ дѣлишекъ на совѣсти... Держись, Марья, за Ѳедосью! держись!

— Да! — пробормотала Маша, — хорошо, если все обойдется словами... А если она заберетъ въ голову фантазію — на самомъ дѣлѣ?

Княжна посмотрѣла на подругу пристально, мрачно.

— Э!!!... — сказала она и отвернулась.

И въ короткомъ звукѣ ея безнадежнаго восклицанія Маша угадала:

„Ну, что ты притворяешься дурочкою и фигуры строишь? словно малолѣтняя. Кто попалъ на дно ада, тому поздно читать чертямъ лекціи о добродѣтели...“

Маша покраснѣла. Въ узенькихъ глазкахъ Княжны она

*) Кузнецовъ. 25.

прочла недовѣріе къ искренности ея опасеній и негодованія: ну, какъ это „рюлинская“, — послѣ нѣсколькихъ лѣтъ въ школѣ и практикѣ изощреннаго генеральшина притона, — вдругъ, оказывается столь невинною институткою, что для нея новостью являются самыя обычныя похиженія вертепнаго быта? Романъ съ экономкой — экая, подумаешь, важность какая! кто черезъ это не проходилъ? Стоитъ поднимать столько шума изъ-за такихъ пустяковъ!*)).

— У насъ, у Рюлиной, — возразила Маша, — пошлости эти показывались только въ живыхъ картинахъ... для графа Иринскаго и другихъ старыхъ подлецовъ...

— Будто бы ужъ, только? — недовѣрчиво удивилась Княжна.

Маша нетерпѣливо отвернулась, кусая губы.

— Ну, пожалуй, бывало иногда баловство... шалости, спьяну... Жозька безобразничала... Актрисы двѣ прѣзжали, графинька одна... Но — чтобы въ жизни, чтобы въ серьезъ, чтобы почти открыто, — никогда! никогда! Никому и въ голову не приходило такого срама. Ни за что!

Княжна любопытно воззрится на нее:

— Въ самомъ дѣлѣ? Ну, въ чужой монастырь со своимъ уставомъ не ходятъ, а, какъ видно, уставъ на уставъ не приходится. У насъ это — чуть ли не высшій шикъ... Наслышались, что такъ водится за границую, въ Парижѣ, — стало быть, подавай и намъ, въ Гостинный дворъ — послѣднюю моду. У Прасковьи Семеновны въ „корпусѣ“ и по квартирамъ жило прежде много французенокъ, а въ особенности нѣмокъ, берлинскихъ. Съ нихъ это и взялось, и пошло. А ужъ гдѣ завелась однажды эта зараза, кончено: скоро ея не выкуришь, будетъ расползаться, какъ экзема какая-нибудь эпидемическая... Вѣдь

*) Ср. „Яму“ Куприна. Jean Lorrain, „Monsieur Philibert“.

знаешь, какъ мы, русскія, всё заграничныя моды перенимаемъ: если въ Парижѣ золотникъ, такъ у насъ фунтъ, если въ Берлинѣ аршинъ, такъ мы сажень вытянемъ. А сколько нашей сестры на этомъ въ конецъ оскверняется, до скота безсмысленнаго тупѣть и, развратомъ захлебнувшись, душою и тѣломъ гибнетъ!... Уже одну Антонинку нашу — если бы моя воля была, я повѣсить велѣла бы: она вѣдь теперь зачинщица всей этой грязи и тонъ даетъ. Нѣмочки эти — обѣ — Клара и Густя — еще полгода назадъ, когда поступили къ намъ, какія были чистенькія, скромныя, робкія, какъ стыдились и тосковали, что несчастная судьба бросила ихъ на путь нашъ безрадостный! А сейчасъ — Антонинкину школу прошли — ведутъ себя халды халдами, стали грязь грязью. Отъ чего прежде плакали и приходили въ отчаяніе, — Клара-то, на первыхъ порахъ у насъ, въ петлю было полѣзла! — теперь хохочутъ... хвастаютъ... безстыдничаютъ!... А вѣдь Кларѣ всего двадцатый годъ, а Густѣ нѣтъ девятнадцати. И для обѣихъ Антонинка — божество земное: кулаками дерутся между собою изъ-за того, на которую она ласковѣе посмотреть. А она — вѣдьма, тварь. Она уже одну дѣвушку — грузинка была, Тамарою звали — довела фокусами своими до кровохарканія. А другая, Лиза-одесситка, нажила себѣ нервныя припадки, истеричка сдѣлалась, такъ себя искалѣчила, что уже какъ будто и въ умѣ мѣшаться начинала. Галлюцинаціи имѣла, страхи таинственные. Теперь ее въ Финляндіи водою лѣчатъ... „понть“ одинъ богатый разжалобился, — выкупилъ ее у Прасковьи Семеновны и денегъ далъ.

Марья Ивановна возразила:

— Я, Лидія, не понимаю. Всё говорятъ, и я сама вижу, что Прасковья Семеновна ужасно взыскательная и строгая. Какъ же она-то это терпитъ и попускаетъ?

— Сама хороша, — желчно отозвалась Княжна. — Ты еще не знаешь, ты вообразить себѣ не можешь, что это за скотина, такая это развратная тварь! Болѣе скверной бабы я не видала!

— Однако, не пристаешь же она, какъ Антонина...

— Такъ это потому, что она о себѣ понимаетъ очень высоко, а насъ презираетъ, какъ послѣднюю дрянь. Мы для нея не люди, а рабыни, живой товаръ. Она брезгуетъ собственнымъ товаромъ. А ты поразспроси прислугу, что у нея въ личныхъ ея покояхъ творится. Она не признаетъ ни мужчинъ, ни женщинъ: ей подай тринадцать, четырнадцать лѣтъ... И — свирѣпая вѣдь она, мучительница... Чортъ знаетъ что продѣлываетъ! Въ прошломъ году чуть-чуть не засѣкла паренька одного, а пять лѣтъ назадъ гимназистика на полотенцахъ до безчувствія закачала... Ей ли другихъ унимать? Она только издѣвается да тѣшится.

— Пусть даже и такъ, но вѣдь ей же не выгодно, если одна дѣвушка чахотку наживаетъ, другая сумасшедшею дѣлается... Значить, онѣ перестаютъ годиться въ работу. Она теряетъ на нихъ.

Княжна отвѣчала сурово и насмѣшливо:

— Не безпокойся, не просчитается. Еще будетъ ли чахотка, еще когда-то сумасшествіе, а до тѣхъ поръ ей за Лизами да Тамарами несчастными и сторожей не надо, — хоть веревки изъ нихъ вей, хоть ходи по нимъ, какъ по живымъ половицамъ, хоть розгами сѣки ихъ каждый день, только не разлучай. Ты смотри: нѣмки наши горемычныя даже свободными днями не пользуются, никогда ни шага изъ дома, кромѣ какъ на „работу“, сторожатъ свое сокровище, точно ихъ привязываетъ къ „корпусу“ невидимая цѣпь. Ты, я, Фраскита, пожалуй даже Нимфодора глупая, — только покажи намъ выходъ на волю,

убѣжимъ, куда глаза глядятъ. А Клару и Густю развѣ что силою Прасковья Семеновна прогнать изъ „корпуса“: по своей волѣ онѣ не уйдутъ никуда. И буфету отъ нихъ доходъ не малый: всѣ три — что ни добудутъ на булки, сейчасъ же вмѣстѣ проѣдятъ на сластяхъ и пропьютъ на ликерахъ. А бутылку ликеру Федосья ставить въ пятнадцать рублей, а полуфунтовая коробка конфетъ у насъ — три цѣлковыхъ. Всѣ крутомъ въ долгу, закабалились до того, что въ десять лѣтъ не раскabalиться. Такихъ особъ, какъ Антонина, хозяйки на всѣхъ золота цѣнятъ, а ты хочешь, чтобы Прасковья Семеновна ей противоѣствовала? Не такъ глупа!*)).

Къ сожалѣнiю, Княжна была совершенно права, заподозривъ Машу въ неполной искренности. „На самомъ дѣлѣ“, котораго возможностью Маша возмущалась для будущаго, уже давно было настоящимъ, — только таились... А послѣ разговора съ Княжной, Маша, съ обычною своею трусливою покладистостью, разсудила, что съ волками жить — по волчьимъ выть: хвастать не чѣмъ, да и очень скрывать не стоитъ. Выгоды покровительства Федосьи Гавриловны, высчитанныя Княжною, выяснялись Машѣ съ каждымъ днемъ наглядно и осязательно. Она чувствовала, что, сравнительно съ рабствомъ прочихъ женщинъ „корпуса“, ея рабство еще бархатное. И, мало-по-малу, для самой себя незамѣтно, черезъ ежедневныя мелочишки, стала все менѣе стѣсняться и все прозрачнѣе входить въ роль „экономкиной душеньки“.

Мѣсяца черезъ три по вступленiи въ „корпусъ“, Маша получила, наконецъ, отдѣльную комнату, — смежную съ экономкиной, черезъ открытую дверь. По этому случаю, „корпусныя“ товарки потребовали съ Маши угощенья на новосельѣ, а, чтобы веселѣй было, выдумали сыграть шутовскую свадьбу. Пиръ

*) Кузнецовъ.

былъ на весь міръ: всѣ силы и власти „корпуса“, съ самою Буластихою во главѣ, всѣ барышни, вся прислуга и почетныя гости изъ квартиръ. „Вѣнчанья“ не играли: жестокость и распутство не препятствовали Буластихѣ и Ѳедосьѣ Гавриловнѣ быть религіозными и опасаться кощунства, которое не пришлось бы по сердцу также и многимъ изъ барышень и прислуги. Ѳедосья Гавриловна, въ роли новобрачнаго, величественно принимала гостей, облеченная въ ффрачную пару, а Марья Ивановна — въ томъ вѣнчальномъ туалетѣ, что нѣкогда сшила ей Рюлина для прельщенія сумасшедшаго „Похитителя Невѣстъ“. Пьянство на этомъ шутовскомъ свадебномъ пиру было великое, а счетъ долга Марьи Ивановны въ книгахъ Буластихи, удлинился колонкою двухъ и трехзначныхъ чиселъ съ четырехзначнымъ итогомъ. Несмотря на то, что Ѳедосья Гавриловна, для своего праздника, ставила цѣны милостивыя, почти лавочныя!

XLVI.

Первые три дня Марья Ивановна провела какъ бы въ заключеніи: безвыходно, безвыѣздно. Приходили какія-то факторши темнаго вида, Буластиха и Ѳедосья Гавриловна знакомили съ ними Машу. Тѣ говорили ей комплименты, пили чай съ вареньемъ и ромомъ, шептались съ хозяйкою или эконолкою, нѣкоторыя получали Машины фотографіи — какъ обыкновенныя, такъ и изъ коллекціи Адели (эти послѣднія, конечно, потихоньку отъ Маши), и уходили. Сама Буластиха тоже нѣсколько разъ выѣзжала со двора, забирая съ собою Машинъ „пакетъ“... На четвертыя сутки Машѣ уже съ утра было вѣлѣно хорошенько заняться своею красотою. А когда сѣмркалось, Ѳедосья Гавриловна сѣла съ нею въ карету и покатила на Васильевскій Островъ.

Карета высадила женщину у одного изъ очень многихъ

подъѣздовъ огромнаго пятиэтажнаго дома, протянувшагося чуть не на цѣлый кварталъ по линіи и, долгими глаголями, загнутаго въ переулки. Ѳедосья Гавриловна и Лусьева стали подниматься по безконечной петербургской лѣстницѣ, тусклой, узкой, грязноватой и не изъ ароматныхъ. Экономка пропустила Машу идти впередъ, а сама отставала только на ступеньку. Подниматься надо было на самый верхъ. У довольно обдерганной двери безъ дощечки Ѳедосья Гавриловна дернула за звонокъ, и — Сесамъ тотчасъ же отворился: выглянула толстая, рябая горничная, а за нею высился угрюмый дѣтина съ шрамомъ подъ глазомъ и въ буйныхъ кудряхъ. При видѣ Ѳедосьи Гавриловны, лица обоихъ приняли выраженіе подобострастнаго восторга. По коридору, навстрѣчу вошедшимъ, спѣшила худощавая пожилая дама, съ льстивою и глуповатою улыбкою на изношенномъ и, замѣтно, знавшемъ много лучшіе дни лицѣ. Одѣта она была въ черный шелкъ и очень прилично, но какъ будто немножко съ чужого плеча.

— Ахъ, душечка, Ѳедосья Гавриловна! — взвизгнула она. — Ахъ, какъ я рада! А мы уже въ отчаяніе приходили... Ждемъ, ждемъ...

— Ты насъ прямо къ себѣ веди, — чуть кивнула ей экономка. — Тамъ и раздѣнемся.

— Слушаю, душечка моя! Съ особеннымъ удовольствіемъ!

По тѣсному коридору онѣ прошли гуськомъ, стараясь не зацѣпить низко опущенную керосиновую лампочку, въ небольшую комнату, съ множествомъ образовъ въ углу и полочкою душеспасительныхъ книгъ*) надъ полуторною деревянною кроватью, съ высокими подушками и малиновымъ стеганымъ одѣяломъ.

*) Ломброзо, 427, 428. Кузнецовъ.

— Скидай шубку, — приказала Ѳедосья Гавриловна Машѣ, только теперь здороваясь съ дамою за руку. — Вотъ познакомьтесь, что ли: Марья Ивановна, Евгенія Алексѣевна, хозяйка здѣшняя... У, шутъ пѣсскій! Изъ всѣхъ квартиръ хуже твоего тычка, Евгенія, для меня нѣтъ, шутка ли? Семьдесятъ три ступеньки!...

Она лоснилась, какъ атласъ, и пыхтѣла, какъ паровикъ.

— Очень пріятно сдѣлать такое милое знакомство!

Дама протянула Машѣ худую, холодную руку съ вздутыми синими жилами.

— А „обже“ вашъ давно уже томится... просто сторааетъ нетерпѣніемъ! Ахъ, только теперь я васъ во всей вашей красотѣ, милочка, вижу!... Что это? Прелесть какая вы хорошенькая!... У насъ такой даже еще и не бывало!... Очень счастлива! Я васъ, *mademoiselle*, давно знаю: по театрамъ видала, въ циркѣ... Просто заочно влюблена въ васъ была: такая душка, радость, ангелокъ!... И всегда, бывало, думаю: ну, что она тамъ у Рюлиной? Лучше бы къ намъ. И вотъ, наконецъ, какова судьба-то? — ну, ждали ли вы того? — привелъ Богъ познакомиться!...

— Ты, Евгенія, не трещи, — безцеремонно оборвала ее Ѳедосья Гавриловна. — Твоихъ всѣхъ словъ до будущаго года не переслунать. Съ кѣмъ энтотъ у тебя тамъ?

— Его занимають Эмилиа Карловна и Клавдюшка.

— Покличь-ка Эмию сюда, а сама тамъ покуда побудь-останься.

Дама ушла, не очень довольная, но все же, по привычкѣ, льстиво и восторженно улыбаясь.

— Это я для тебя стараюсь, — сладко сказала Машѣ Ѳедосья Гавриловна, — хочу познакомить тебя зараньше съ эко-

номкою. Потому что — Евгенія эта лишь на словахъ притка, а вся цѣна ей мѣдный грошъ, и въ дѣлѣ она ровно ничего не значить. Такъ только, что паспортъ очень хорошій и представительность имѣть, за то и держимъ... А то бы — и жалованья жаль... А Эмилиа Карловна — солидный огурецъ: не разъ тебѣ придется водить съ нею хлѣбъ-соль. Баба не изъ злобныхъ, но съ норовомъ и почтеніе любить. Ну, стало быть, значить, и — не плюй въ колодець, пригодится воды напиться.

Вплыла небольшого роста шарообразная нѣмка, изъ типа, про которую русскій народъ говоритъ: „лихорадкою бѣднягу било, — всѣ кости вытрясло, а восемь пудовъ мякоти осталось“.

— О? Ви?! — съ пріятностію заулыбалась она.

Федосья Гавриловна познакомила Машу. Узнавъ, что дѣвушка владѣетъ нѣмецкимъ языкомъ, Эмилиа Карловна, сразу къ ней расположилась.

— Ты, Эмилиа, соблюдай, — внушала Федосья Гавриловна, — чтобы твои оболтусы, Боже сохрани, ее не обидѣли.

— Aber, meine liebe Федось Кавриль! пошалоуста, путте покойникъ! Я опишь карашо виталь, какой Марь-Фанъ шельфекъ, и путу ее заграниль, какъ eine синица въ глазѣ!

— Ты такъ всѣмъ и скажи: ежели грубости, охальство, вопче безобразіе, я взыщу хуже, чѣмъ за десять княженъ...

— Путте покойникъ! путте покойникъ! — гостепріимно приглашала усердная нѣмка.

— А затѣмъ проминаться мнѣ здѣсь съ вами нечего. Тотъ-то что дѣлаеть?

Эмилиа Карловна сожалительно подняла брови къ верху узенькаго лба.

— Пиль съ Клавдюша отинъ путилька шампань.

— Ишь, скаредъ! Ну, мы съ Машею его подкуемъ. Ты

это, Марья Ивановна, памятуй себѣ паче всего: вина — сама пить хочь и не пей, а спрашивать вели походя... Это у насъ — въ первый номеръ. У Рюлиной вашей, сказываютъ, хорошихъ гостей виномъ даромъ поять, хоть облейся, — такъ зато Аделька съ нихъ снимаетъ тысячи. А мы женщины скромныя, до тысячи и считать не умѣемъ, — ну, а за вино намъ заплати!...*)).

Она вывела Машу въ небольшой, очень небогатый и изрядно законченный залецъ, въ которомъ на стѣнѣ красовались картины, изображавшія — одна жертвоприношеніе Авраама, другая — Вирсавію въ купальнѣ: рыночныя произведенія ученической васильеостровской кисти, вѣроятно, когда-нибудь застрявшія при квартирѣ за долгъ. Подъ аляповатую Вирсавіей, на диванѣ, возсѣдала не менѣе аляповатая дѣвица въ китайскомъ пеньюарѣ и съ папиросою въ зубахъ. Навстрѣчу Машѣ она испустила притворно-радостный визгъ:

— А вотъ, Семень Кузьмичъ, и моя подруга!... Здравствуй, душка, ангелъ, небожительница!

Марья Ивановнѣ пришлось наивнѣйше облобызаться съ особою, которую она, хоть присягнуть, — видѣла впервые въ жизни. Евгенія Алексѣевна сидѣла тутъ же. Она изображала снисходительную тетушку *grande dame*, а аляповатая особа — ея шаловливую племянницу... Спектакль разыгрывался для малорослаго молодого человѣка, съ незначительною фізіономіей, обросшею мутными, рыжеватыми волосами; галстукъ у него былъ голубой съ изумрудною булавкою, а глаза, порядкомъ подконьяченные, то безпокойно вращались, точно колеса, то вдругъ застывали въ столбнякѣ необъяснимаго испуга. Человѣкъ этотъ производилъ впечатлѣніе, будто онъ только что хапнулъ

*) *Елистратовъ*, 22.

чужія деньги и не увѣренъ, не гонится ли за нимъ по пятамъ полиція. Узрѣвъ Машу, онъ просіялъ, пересталъ вертѣть глазами и нѣсколько пріосанился. Полилось вино... Кушча, дѣйствительно, „подковали“. Время отъ времени Ѳедосья Гавриловна подмигивала другимъ женщинамъ — тѣ, поодиначкѣ, вставали и уходили. Наконецъ она сдѣлала знакъ и Машѣ. И та вышла.

— Ну-съ? — побѣдоносно воскликнула Ѳедосья Гавриловна, оставшись съ гостемъ наединѣ. — Видалъ? Врали мы тебѣ или нѣтъ?

— Дили... лиди... леди... деликатесь!... — лепеталъ нагружившійся вращатель глазами,

— Д-а-съ! Нѣтъ, ты скажи, портретъ видалъ? казали мы тебѣ портретъ? отличаетъ хоть эстолько? врали мы тебѣ? скажи, отвѣтствуй: врали?

— Не м-мо-огу на себя брать... Лиди... дили... катесь!... И должонъ къ вашей чести приписать, потому что все такое... по совѣсти...

— Да! И генеральская дочь! Хопъ — всѣ документы на столъ? За нее, братъ, три графа сватались! Графы! Можешь ты вникать?

Глаза Семена Кузьмича затвердѣли въ столбнякъ.

— Б... б... б... бароны лучше! — все-таки протестовалъ онъ, хотя и съ нерѣшительностью.

— Много ты понимаешь! Баронами, братъ, у ейнаго отца всѣ притолоки обтерты.

— Б-баронами? — въ священномъ ужасѣ возопилъ Семенъ Кузьмичъ.

— Имя самими! — храбро подтвердила рѣшительная дама. — Сейчасъ умереть. Эка невидаль — бароны твои!... Тебѣ, по низкости твоего рожденія, они, можетъ быть, и въ диковину, а намъ — тѣфу! Вотъ мы какъ высоко себя понимаемъ!

Ну, и значить, — перешла она въ дѣловое объясненіе, — коль скоро мы свое слово къ вамъ сдержали и барышня вамъ нравиться, то позвольте условленное съ васъ по уговору получить.

Тѣмъ временемъ Марья Ивановна оставалась на попеченіи аляповатой дѣвицы...

— Васъ Марьей Ивановной звать? — трещала та. — Давно вы у Буластовой? А прежде у Рюлиной были? Вы, говорятъ, изъ благородныхъ? Я сама вахмистрова дочь и въ пинціонѣ два класса была, но — ежели превратный кирасиръ?! Ахъ, слабость нашей сестры не подлежитъ описанію и очень достойна удивленія!... Въ корпусѣ живете? Тамъ у васъ дѣвица Нимфодора — все ли здорова? Подружка моя, прекраснѣйшая дѣвушка, только глупа очень... Ахъ, житье вамъ, корпуснымъ! Я къ вамъ какъ-нибудь въ гости отпрошусь, — можно? Когда самой дома не будетъ? Уже я склечусь съ вами по телефону... Можно? Ѳедосья Гавриловна — та пуцай, она дѣвицамъ къ знакомству не супротивница... Гы-гы-гы! Наслышаны мы... Ужъ вы! Шельмы рюлинскія!

Дѣвица захохотала и преобольнохватила Машу съ размаху по плечу.

— Вы мнѣ ключицу сломаете, — сказала Лусьева.

— Ишь, нѣжности!... А везетъ-то вамъ какъ, именно ужъ можно сказать, что фартить: какого теленка чортъ смарьяжилъ! Энтото — хоть развинти, пальцемъ не тронетъ... А вотъ я, душенька, распронесчастная уродилась на тотъ самый счетъ: ежели, скажемъ, я нонеча во снѣ капусту вижу, безпремѣнно меня вечеромъ гость бьетъ! Но только вы того не опасайтесь: у насъ долго скандальничать не полагается, и „жилецъ“ Александръ — чрезвычайно какой сильный. По осени купчикъ тутъ одинъ кутилъ со своими молодцами — такъ Александръ ихъ всѣхъ четырехъ, черезъ все лѣстницу, скрозъ пять этажей, на улицу вышибъ... Приставъ опосля приходилъ: „Ма-

дамъ, на васъ жалобы!... Потрудитесь въ вашемъ неправильномъ поведеніи чтобы потише...". Евгенія Алексѣевна испугалась, только присѣдаетъ передъ нимъ да клохчетъ, будто курица. Ну, а Эмилія эти дѣла знаетъ! Сейчасъ — бутылку шампанскаго на столъ, четвертной билетъ въ салфетку, меня съ Еленою позвала: это тоже дѣвушка здѣшняя, она нонеча къ Аннѣ Тихоновнѣ въ корпусъ на финскій вечеръ взята, — Перинная линія гуляетъ... А вы какихъ нашихъ хозяекъ знаете? Ахъ, еще первую!... Ну, наша Евгенія — что! Только божественныя книжки читаетъ да съ „жильцомъ“ амурится... А тотъ на нее, старую кощю, и смотрѣть не хочетъ. Онъ въ меня влюбленный. А въ васъ кто влюбленный? Гы-гы-гы...

— Слуште! — понизивъ голосъ, зашептала она дѣловымъ тономъ. — Ежели „понтъ“ энтотъ положить вамъ подъ подушку на булавки, вы меня не забудете, — а? Вы, душка ангель, не жалѣйте: вы не нашей сестрѣ чета! Я знаю: за васъ Оедосья три сотни слупила... вы аристократная богачея, а намъ, бѣднягамъ, откуда взять?

— Какая же я богачея? — даже ахнула Маша. — У меня за душою гроша нѣтъ.

Дѣвица торопливо закивала головой,

— Понимаю, душенька мой, все понимаю!... Да вѣдь — положить! смекаете? — положить! Вотъ вы тогда и подѣлитесь. Я съ вами за это всегда дружить стану. Да! Вы не безпокойтесь: я заслужу!... Оченно могу вамъ пригодиться. Авось, не послѣдній разъ вы у насъ гостите... Господи!

Маша обѣщала.

Утро, заставшее Лусьеву въ этой квартирѣ, было сплошь отравлено попрошайничествомъ. Начала Эмилія Карловна:

— Сколько вы получили на булавки, Schätzchen?

— Двадцать пять рублей, — съ досадою, измученная,

желтая, злая, полусонная, отвѣчала Лусьева; эта подачка унижала ее въ собственныхъ глазахъ не только женски, но даже „профессіонально“. У Рюдиной она швырнула бы бумажку въ лицо мужчинѣ, на смѣхъ сожгла бы ее на свѣчкѣ...*) Но нѣмка взглянула на Машу не безъ почтенія.

— S-o-o-o? Schön, Kindchen, schön! Sehr glücklich!

И тотчасъ же объяснила.

— У насъ такое положеніе. Если вы получаете на булавки, то двадцать пять процентовъ поступаютъ въ пользу экономки. Aber, mein Kind, вы такая симпатичная, для перваго знакомства, вы, навѣрное, прибавите мнѣ маленькую бездѣлицу въ подарокъ.

Маша сконфузилась и дала ей десять рублей. Пять рублей отстригла у нея льстивая, улыбающаяся, слезливая Евгенія Алексѣевна. Три — вчерашняя аляноватая дѣвица. Три, — масляно, рабски и въ то же время какъ-то угрожающе ухмыляясь, — выкланяль „жилецъ“.***) Рубль сама Маша сочла нужнымъ дать горничной, которая много ей служила.

Въ концѣ концовъ, она съ жаднымъ нетерпѣніемъ, какъ дорогого, своего человѣка, ждала, скоро ли пріѣдетъ Федосья Гавриловна, чтобы увезти ее изъ этой западни. Ей уже начинало казаться, что канюки-просители, съ халуйски пониженными и настойчивыми глазами, лѣзутъ къ ней изъ каждой двери, изъ каждой щели... Кто, ослабляясь, кланяется и протягиваетъ руку, кто сообщаетъ, какъ наглый, разбойничій законъ:

— У насъ такое положеніе!

Ночь, каждое воспоминаніе о которой передергивало Лусьеву отвращеніемъ, самой ей принесла... три рубля!...***)

*) Ломброзо, 436.

**) Ломброзо, 429—430.

***) Взято изъ подлиннаго судебного дѣла девяностыхъ годовъ.

Маша даже поблѣднѣла, и губы у нея затряслись, когда считала свои доходы! Ей хотѣлось избить хищниковъ, снявшихъ проценты съ жалкой стоимости ея тѣла... А надо было сдерживаться, проглотить и обиду, и слезы, и любезно улыбаться Эмили и Евгеніи, которыя теперь очень хлопотали ей угодить.

Кучерь, привезшій Машу съ Федосьей Гавриловной въ корпусъ, тоже снялъ шапку:

— На чаекъ бы съ барышни?

Маша, не глядя, съ ненавистью стиснувъ зубы, бросила ему послѣднюю трехрублевку.

— Ой, дѣвка? — удивилась Федосья Гавриловна, — что больно шикаришь? Былъ бы сытъ и рублемъ.

Маша, не отвѣчая, прошла въ свое помѣщеніе, раздѣлась и легла спать носомъ въ стѣну. Но сонъ не приходилъ, несмотря на усталость послѣ проведенной безобразной ночи. Обида, гнѣвъ, стыдъ, слезы душили. Маша чувствовала себя оскорбленною, осмѣянною, ограбленною, растоптанною. Въ ней все дрожало. Ей хотѣлось заревѣть голосомъ на весь домъ, но „нѣтъ, этого онѣ не дождутся, чтобы я еще стала имъ истерики свои показывать!“ — либо побѣжать, вцѣпиться ногтями въ первое лицо, какое попадется навстрѣчу, да такъ на немъ и повиснуть!.. царапать, визжать, ругаться, плевать, топтать ногами, биться въ кровь!.. Бѣжали часъ за часомъ, а успокоеніе не приходило: разбитые нервы стояли, въ сердце вселились тоска и чувство тяжелой пустоты, точно оно стало полнымъ свинцовымъ ящикомъ, къ горлу подкатывалъ шаръ...

И вдругъ она вскочила и сѣла на кровати:

— Федосья Гавриловна!

— Чего? — откликнулась та изъ коридора.

— Повѣрьте мнѣ бутылку кордонъ-ружъ.

— Мо-о-ожно!.. — весело протянула экономка. — Сухого или сладкаго?

— Экстра-секъ. Да похолоднѣе.

Двадцать минутъ спустя Маша пѣла пѣсни и хохотала, какъ дурочка. Спустя часъ она спала мертвымъ сномъ. Опорожненная бутылка валялась у ногъ ея, тутъ же въ постели. *)

Уже поздно вечеромъ растолкала ее Федосья Гавриловна.

— Вставай. Сама тебя спрашиваетъ. Гости будутъ.

Въ головѣ у Маши гудѣла и пересвистывала похмельная вьюга, комната каруселью вертѣлась въ глазахъ.

— Куда же я къ чорту гожусь? — сказала она охрипшимъ голосомъ.

Пошатываясь отъ опьяненія сномъ и виномъ, она добрела до зеркала и ахнула: изъ стекла взглянуло на нее совсѣмъ чужое лицо, оплывшее, опухлое, грубое, почти безъ глазъ...

„Словно Люція, бывало“, съ мрачнымъ отвращеніемъ вспомнила она.

— Я не могу выйти такая, — рѣшительно сказала Маша экономкѣ. — Пусть Прасковья Семеновна извинить...

— Ш-ш-ш-ш...

Широкая ладонь Федосьи Гавриловны легла на губы Лусьевой.

— Что ты? сдурѣла, оглашенная? — зашипѣла экономка, боязливо косясь на двери. — Она те такъ извинить... Благодарю своего Бога, что не слыхала! Ты, Марья, эти рюлинскіе фокусы, пожалуйста, оставь... честью тебя прошу! У насъ нельзя. У насъ, другъ, и въ хвостъ, и въ гриву!

*) Ломброзо, 446, 451, 452. Елистратовъ, 22.

Я тебя, по нѣжности моей, добромъ предупреждаю. Другую бы — прямо черезъ плечо полотенцемъ... *)

— Да какъ же я... вы посмотрите на меня! — залепетала струсившая дѣвушка.

— Ступай въ ванную, подѣ душъ стань... Что хочешь съ собою дѣлай, а чтобы черезъ часъ къ гостямъ выйти!.. Богатѣйшіе бакалейщики!.. Мы у нихъ товаръ беремъ...

Когда Маша, синяя, стуча зубами, дрожа всѣмъ тѣломъ, вся въ пупырушкахъ гусиной кожи, но уже свѣжая и бодрая, скокомъ прибѣжала изъ ванной, Федосья Гавриловна подмигнула ей на столъ:

— Ну-ка, Господи благослови!

— Что это?

— Финь-шампань, питье просвѣщенное. На поправку нѣтъ его милѣ. Пей, больная: угощаю! Лучше здоровой станешь.

— Да я коньяку никогда въ ротъ не брала.

— Начать надость. Не махонькая!

— А запьянѣю?

— Дура! Не знаю я, что ли, сколько поднести? Ожнешь, а не очумѣешь! Пей!

XLVII

И такъ пошли за днями дни, за ночами ночи. Тотъ же проклятый успѣхъ, что у Рюлиной, преслѣдовалъ Лусьеву и здѣсь. Только одна „Княжна“ оставалась впереди ея по заработку, поступавшему въ карманы Прасковьи Семеновны Буластовой. Красота и привлекательность Лусьевой, все-таки, тушевались за титуломъ и родословною тощей, подслѣпой,

*) *Грязновъ, 126.*

дурнозубой и скучной женщины, съ десяткомъ физическихъ недостатковъ и, кажется, безъ единого физическаго достоинства. Гостиный дворъ и Калашниковская пристань съ ума сходили не по сіятельной кокошкѣ, а по ея сіятельству... („Княжна“ — замѣтная московская фигура конца восьмидесятыхъ и начала девяностыхъ годовъ. Разновидности „Княжны“ — тѣмъ паче поддѣльныя — не рѣдки, но московскій прототипъ ея поражалъ цѣльностью своего униженія, почему именно я и не считъ возможнымъ пройти мимо „Княжны“ въ „Марьѣ Лусевой“. Впослѣдствіи злополучная особа эта умерла или, быть можетъ, скрылась съ горизонта въ замужество, распустивъ слухъ о своей смерти. Въ тайныя проститутки она опустилась послѣ недолгаго прожиганія жизни въ качествѣ *B. soureuse* и открытаго содержанства на иждивеніи сѣраго купца, ямщика-троечника, Е.)

— Вѣдь отъ Гостомысла-съ!.. Это, сказываютъ, еще раньше Рюрика-съ!.. И вдругъ... Ахъ-ахъ-ахъ! Вы прикиньте, извольте вмѣстить, каково это!..

Обращалась Буластова съ Лусевой, попрежнему, лучше, чѣмъ съ остальными, но это зависѣло исключительно отъ покровительства Федосьи Гавриловны, а за покровительство экономки имѣли противъ Маши злой зубъ рѣшительно всѣ — и женщины, и передержажія власти буластовскаго дѣла.

Когда Буластиха или Федосья Гавриловна наказывали или обижали какую-либо женщину, товарки ей сочувствовали, ее утѣшали, не разбирая, права та была или виновата. Если доставалось Машѣ, всѣ торжествовали:

- Слыхали, дѣвицы? Нонче уже и дворянокъ хлещуть...
- Свои разодрались!
- Милые бранятся, только тѣшатся!
- Супружеская сцена!

Дружбы у Маши не сложилось ни съ кѣмъ въ корпусѣ,

кромѣ „Княжны“, а эта послѣдняя почти постоянно бывала въ разѣздахъ, — на „гастроляхъ“, какъ угрюмо острела она. Въ первое время къ дѣвушкѣ была внимательна и ласкова пѣвунья Антонина, но именно за ея ласковость ревниво возненавидѣли Машу обѣ нѣмки. Да и ласковость Антонины была съ противнымъ оттѣнкомъ, и къ самой Антонинѣ Маша чувствовала инстинктивное, физическое отвращеніе. Когда же Федосья Гавриловна гласно и открыто взяла Лусьеву подъ свою властную защиту, Антонина озвѣрѣла противъ Маши пуще всѣхъ и — не проходило дня, чтобы не дѣлала ей непріятностей.

Дѣвушка чувствовала, что если какимъ-либо случаемъ покровительству настанетъ конецъ, то ее затравятъ, замучатъ, забьютъ во сто разъ ехиднѣе и съ большимъ звѣрствомъ, чѣмъ всякую другую... на ней выместятъ все зло ужаснаго дома, котораго она такъ долго и счастливо не раздѣляла съ другими.

Она жила въ постоянномъ испугѣ и, поневолѣ, изъ чувства самосохраненія жалась къ той, у которой находила себѣ опору. „Княжна“ была права; Федосьѣ Гавриловнѣ льстило это покорное искаженіе защиты.*) Сама она держала свою юную пріятельницу въ ежовыхъ рукавицахъ, но противъ всѣхъ другихъ стояла за нее крѣпко и даже Буластихѣ поставила прямое условіе.

— Вы мнѣ, Прасковья Семеновна, мою Машку не троньте. Ручища у васъ тяжелая, а она дѣвушка сложенія деликатнаго: самой вамъ будетъ невыгодно, если вы ей отобьете печенки. Вы не беспокойтесь: я вашего интереса не упущу, потакать не мастерица. Если дѣвка что сошкодитъ, сама оттреплю ее, по всей моей доброй совѣсти. Но ужъ вашей

*) Ломброзо, 322. Кузнецовъ, 25. Cutrera, 36.

нѣжной ручки, очень прошу васъ, къ ней не прикладывайте... Ссориться будемъ!

Ну, ну ладно!.. чортъ съ вами!.. „Два друга: колбасникъ и его супруга“!..

Покровительство Оедосьи Гавриловны, если не совершенно избавляло, то значительно защищало Марью Ивановну еще отъ одного несчастія, незнакомаго ей въ рюлинской неволѣ, но слишкомъ обычнаго и общаго плѣнницамъ Буластихи.

„Генеральша“ выколачивала изъ своихъ кабальницъ огромные доходы, но сообразно своей аристократической кліентурѣ, и сама держала себя барыней, и „воспитанницамъ“ своимъ внушала высокій тонъ, исключавшій всякую возможность интимнаго соприкосновенія съ плебейскимъ міркомъ мясниковъ, зеленщиковъ, булочниковъ и т. п. поставщиковъ на хокяйство дома. Адель шикарно забирала у нихъ продукты, шикарно и расплачивалась. Не погашенной чистою наличностью счетъ въ хозяйствѣ Рюлиной былъ большою рѣдкостью.

Наоборотъ скаредная жуликъ-баба, Буластиха, поставщикамъ своимъ — кому вовсе не платила, кому платила дешево, жила, не доплачивала, затягивала кредитъ въ долгую: ни съ единымъ рублемъ не разставалась безъ спора и сдѣлки съ очереднымъ кредиторомъ. Поэтому между всѣмъ этимъ народомъ и нею установилась и прочно держалась полнѣйшая фамиллярность, распространявшаяся, конечно и на все населеніе ея вертепа. И вотъ иногда на полный квитъ по счету, иногда за скидку или подожданіе долга, Буластиха нисколько не стѣснялась, а даже въ обыкновеніе взяла и всякому другому способу расплаты предпочитала — предлагать тѣла и ласки своихъ дѣвицъ. Конечно, не всѣ кредиторы на то льстились, но въ большинствѣ случаевъ

Прасковья Семеновна торжествовала, и которая нибудь из невольниц отряжалась погашать долгъ въ порядкѣ натуральной повинности.

Изъ мѣсяца въ мѣсяцъ такъ обрабатывался бравый извозникъ-лихачъ, обслуживавшій „корпусъ“ выѣздомъ рысака-одиночки для показныхъ катаній барышень по городу. Слабъ былъ парень на женскій соблазнъ. Подаетъ счетъ на тысячу рублей, — дай Богъ, чтобы деньгами получилъ половину. За то — хоть прямо съ козелъ, какъ былъ, въ кафтанѣ и сапожищахъ, милости просимъ на верхъ, выбирай любую свободную изъ дѣвицъ и гуляй съ ней, какъ хочешь и сколько хочешь.

„Кому другому — самъ знаешь, Ваня, это многих сотенъ стоитъ, а тебѣ, за службу и дружбу, даромъ“.

Гуляя, лихачъ, конечно, не хотѣлъ ударить лицомъ въ грязь передъ барышнями: тоже, молъ, и мы вѣдь не лыкомъ шиты! — пилъ, форсилъ, широко угощалъ. И, глядишь вечера въ два, въ три прокучивалъ, по счетамъ зоркой и точной Федосьи Гавриловны, не только полученную съ Буластихи полутысячу, но и еще сотню-другую изъ кровныхъ своихъ зажитковъ.*)

Староста артели полотеровъ, мужикъ богатѣйшій, но грубый, дикій и темный, какъ зимняя ночь, — тотъ прямо выговорилъ себѣ привилегію, чтобы, когда онъ въ баню ходитъ, Буластиха присылала двухъ дѣвицъ его мыть. Повинность эту обыкновенно отправляли пѣвунья Антонина съ

*) См. выше прим. о Княжнѣ Куцевской въ одномъ изъ своихъ фотографическихъ для Петербурга 70-хъ годовъ, бытовыхъ очерковъ описалъ точно такой кутежъ — въ погашеніе долга за шикарныи выѣздъ — тогдашнихъ французскихъ кокотокъ съ возницами Волынкина двора. Позже писалъ о томъ нововременскій житель (Дьяковъ-Незлобинъ).

красавицей Нимфодорой, — и нельзя сказать, чтобы неохотно, потому что мужикъ былъ, хотя самодуръ, ругатель и драгунъ, но щедрый на подарки и угощалъ по царски. Возвращались дѣвицы изъ этихъ банныхъ экскурсій пьяными до недвижности мертвыхъ тѣлъ, а проспавшись, подарками хвастали, но о томъ, что между дарителемъ и ими происходило, даже безстыжая Антонина говорить не любила, а лишь кратко опредѣляла :

— Всѣ мужнины съ нашею сестрою свиньи, но ужъ этотъ бородастый подлець надъ всеми свиньями свинья!

Ни затворничество, ни даже хозяйкина жестокость и побои не подчеркивали рабскаго приниженія плѣнницъ съ большею оскорбительностью, чѣмъ вотъ такія повинности натурою. У Рюлиной женщина, всетаки знала о себѣ хоть то малое, что — пусть она живой товаръ, да дорого стоящій, въ высокой твердой цѣнѣ. Хоть кабальница да, всетаки, сколько нибудь личность и цѣнность. Здѣсь — просто, какой то мѣневой знакъ, обезволенная обезличенная живая тряпка, которая сама по себѣ ровно ничего не стоитъ, и отъ прихоти хозяйки-самодурки зависеть, продать ее за тысячу рублей или за двугривенной. Дразнили же одну изъ квартирныхъ барышень Буластихи „Малиною“ — вовсе не за красоту или какія либо особыя сладкія прелести, но потому, что, однажды, нѣ дачѣ въ Парголоу, она послужила почтенной Прасковѣ Семеновнѣ живою монетою для расплаты съ разнощикомъ-ягодникомъ за три фунта малины!

XLVIII.

За широкою спиною Федосьи Гавриловны Марья Ивановна чувствовала себя почти застрахованною отъ подоб-

ныхъ выходокъ, въ которыхъ, не разобрать было у Буластихи, поскольку онѣ диктовались скарედностью, поскольку глумливымъ капризомъ. Соображая все, что могла вспомнить Марья Ивановна о своей второй хозяйкѣ, трудно не придти къ заключенію, что эта страшная женщина, при видимомъ тѣлесномъ здоровьѣ двуногой буйволицы, при холодномъ практическомъ умѣ расчетливой барышницы и ростовщицы, была, однако, аномальна психически. Скрытая, но тѣмъ болѣе жестокая, истерія, обостренная привычкою къ безудержной власти и разнузданному разврату, владѣла свирѣпою бабищею такъ же крѣпко и зло, какъ она своими кабальницами, и то и дѣло прорывалась дикостями, несомнѣнно произвольными. Потому что онѣ самой же Буластихѣ были въ очевидный вредъ, и она въ нихъ потомъ не то, чтобы раскаявалась, но злилась и сожалѣла, зачѣмъ не стерпѣла, поддалась соблазну буйственного чорта.

Единственнымъ существомъ, имѣвшимъ нѣкоторое вліяніе на эту безобразно хаотическую натуру, искусно спрятанную подъ маскою спокойной наглости, была Ѳеодосья Гавриловна. Связанная съ Буластовой службою и дружбою чуть не съ дѣтскихъ лѣтъ, экономка знала свою хозяйку, какъ собственную ладонь, умѣла предчувствовать, угадывать и отчасти сдерживать ея неистовства. Тѣмъ болѣе, что Буластиха, хотя и здоровеннѣйшая баба, не могла соперничать съ Ѳеодосеей Гавриловной въ ея совершенно исключительной для женщины силѣ: изъ всѣхъ „жильцовъ“ лишь двое брали надъ нею верхъ въ борьбѣ, да и то съ трудомъ и не скоро. Это качество придавало ей огромное значеніе — дѣлало ее почти незамѣнимою въ частныхъ и щекотливыхъ тревоженіяхъ ихъ бурнаго и со всячинкою, только что не разбойнаго, промысла.

Какъ всѣ злобныя истерички, Прасковья Семеновна, въ

глубинѣ натуры, была трусовата: потому и ругалась такъ много, орала такъ громко и дралась такъ охотно, что вѣчно подбодряла себя самое, распространяя кругомъ страхъ и трепеть. Федосья же Гавриловна, — вѣроятно, съ дѣтства своего и вотъ уже почти до пожилого возраста доживши, — не знала, какіе это такіе бываютъ у людей нервы, и, хотя тоже ругалась и дралась, походя, но лишь, такъ сказать, профессионально, въ порядкѣ и правилахъ промысла, насколько не волнуя себя, съ невозмутимымъ спокойствіемъ машины.

Прасковья Семеновна полагалось на нее едва ли не больше, чѣмъ на самое себя, что не мѣшало обѣимъ бабамъ ежедневно, при сведеніи счетовъ по хозяйству, лаяться, будто двумъ собакамъ, изъ-за каждаго грошевого недоумѣнія. Хотя хозяйка прекрасно знала, что Федосья скорѣе палецъ себѣ отрубитъ, чѣмъ погрѣшитъ противъ нея въ единомъ рублѣ, а Федосья Гавриловна не менѣе знала, что хозяйка вѣритъ ей безусловно, — и обѣ только душу отводили, собачась крикливымъ сквернословіемъ.

Собравшись кутнуть, а, въ особенности, съ игрою въ карты, какъ на той вечеринкѣ у Рюлиной, когда „генеральша“ поставила на червонной семеркѣ злополучную Машу Лусьеву, Прасковья Семеновна непремѣнно требовала, чтобы Федосья ее сопровождала неотлучно, не давая ей зарываться ни въ вышивкѣ, ни въ азартѣ, ни въ ссорахъ.

Общее мнѣніе темнаго мірка было, что только Федосьей Гавриловной и держится Булстихино дѣло, а безъ нея давно пошло бы хинью. Это было невѣрно, потому что Прасковья Семеновна была очень хитра, ловка, изворотлива и оборотиста, превосходная хозяйка и счетчица и держала руль ладьи своей рукою крѣпкою и грозною. Но, дѣйствительно, твердый характеръ экономки служилъ весьма полез-

ною уздою, какъ для неистовствъ, такъ для скаредности Буластихи, часто тормозившихъ правильный ходъ ея дѣла безпорядочными неожиданными.

Любопытно, что въ молвѣ темнаго мірка, въ заведеніяхъ Рюлиной, Перхуповой, Юдиной и др., даже за стѣнами „корпуса“ въ дѣлѣ самой Буластихи, по квартирамъ, Федосья Гавриловна имѣла репутацію еще лютѣ хозяйкиной. Между тѣмъ, Марья Ивановна не только на собственномъ опытѣ, но и по общей приглядкѣ, не замедлила убѣдиться, что экономка, по существу, баба совѣтъ не злая, а лишь очень исполнительный и старательный фельдфебель въ юбкѣ. Приняла присягу муштровать команду въ дисциплинѣ ежовыхъ рукавицъ, и ужъ тутъ — аминь: не женщина, а какой то чортъ безжалостный, вполне способный девять забить, чтобы десятую выдрессировать. Однако, и трепетавшія предъ ея кулакомъ и плеткою кабальницы не отказывали ей въ обладаніи нѣкоторою „каторжною совѣстью“. Она была довольно справедлива въ разборѣ жалобъ и ссоръ, не начинала своею неограниченною властью надъ дѣвицами, держалась съ ними на товарищеской ногѣ, не насчитывала на нихъ лишнихъ долговъ, довольствовалась небольшимъ процентомъ съ денегъ, которыя гости клали подъ подушку, не отнимала полученныхъ подарковъ и т. п. А Марья Ивановна, какъ фавориткѣ своей, даже и сама то и дѣло дарила вещи, иногда цѣнные.

Вообще, въ отношеніяхъ, которыми обусловилося покровительство Федосьи Гавриловны, Марья Ивановна чувствовала не одну извращенность въ угоду гнусной модѣ, но и нѣчто вродѣ влюбленности, пожалуй, даже нѣсколько сантиментальной. За то очень скоро узнала она и пріятность ревности со стороны такой особы.

Словно желѣзнымъ кольцомъ, окружила Федосья Гаври-

ловна Машу, — отдѣлила отъ всѣхъ иныхъ возможныхъ сближеній и дружбъ, допуская нѣкоторое исключеніе только для „Княжны“: съ нею, какъ и съ ея женихомъ, лакеемъ Артамономъ, эконожка и сама дружила. Но всякій другой шагъ за роковое кольцо, вольный или невольный, обходился Машѣ очень дорого — по правилу: „люблю, какъ душу, трясусь, какъ грушу“.

За всѣ годы у Рюлиной Маша ни разу не была бита, ни даже крѣпко ругана. Тамъ, вообще, хозяйскія расправы производились рѣдко и всегда секретно. Ну, а здѣсь, въ первый же мѣсяцъ, пришлось отвѣдать, какъ, „если дѣвка что сошкودитъ“, ее треплетъ „по всей доброй совѣсти“ любящая, но ревнивая рука.

Первые побои ошеломили Машу. Она „чуть съ ума не сошла“. Хотѣла отравиться, — нѣтъ яду, спички въ домѣ только шведскія, да и... говорятъ, мучительная это смерть, животъ, какъ огнемъ, жжетъ... страшно! Хотѣла изъ окна выброситься, — зима, двойныя рамы, да и... высоко! еще, пожалуй, въ самомъ дѣлѣ, разобьешься на смерть! Хотѣла удавиться, — противно! повиснешь, какъ куль, — багровое лицо, выкатившіеся глаза, высунутый языкъ... брр!..

Кончились самосмертоубійственные порывы тѣмъ, что повалилась Маша на постель свою, носомъ въ подушки и заревѣла на голосъ, благимъ матомъ, колотя въ стѣнку кулаками, брыкая ногами. Въ этомъ ей не препятствовали, дали выплакаться до конца. А затѣмъ та же ревнивая но любящая рука поставила предъ Машею бутылку шампанскаго и тарелку сластей. Поругались еще немножко, но уже, отъ слова къ слову, все спокойнѣе, — глядь, и помирились. Тѣмъ легче, что, вѣдь, — „дура! кабы я тебя со зла била, а то, вѣдь, любя!“

Часа два спустя, Марья Ивановна, полупьяная, раз-

мякла до умиленія и сама же просила прощенія у поколовившаго ее друга. А на завтра, проспавшись, ей, хотя стыдно, но и немножко уже смѣшно было вспомнить, какъ Федосья Гавриловна ее, двадцатитрехлѣтнюю женщину, слово маленькую дѣвчонку, согнула, зажала голову въ колѣни и отшлепала ладонью по мѣсту, предназначенному природою для педагогическихъ внушеній. Какъ видно, безсмертный поручикъ Пироговъ не всегда щеголяетъ въ военномъ мундирѣ и является украшеніемъ сильнаго пола, но, дѣлая честь полуслабому, способенъ также облекаться и въ юбку!

XLIX

Ночуя въ одной изъ лучшихъ квартиръ, Маша познакомилась съ женщиною уже не первой молодости, сильною брюнеткою, прежде, должно быть, замѣчательной, но уже полуувядшей красоты. Она заговорила съ Машей ласково—на хорошемъ французскомъ языкѣ, но хриплымъ, рванымъ, безъ тембра, громкимъ голосомъ, который почти безошибочно опредѣляетъ женщину, давно промысляющую развратомъ, и почти обязательное появленіе котораго у нихъ, — хотя бы и никогда не болѣвшихъ дурною болѣзью, — составляетъ фізіологическую загадку имѣвшую много гипотезъ, но ни одного рѣшенія.*) Оказалась она тоже изъ бывшихъ, но очень давнихъ, рюлинскихъ „крестницъ“, а когда-то была гувернанткою въ одномъ изъ самыхъ аристократическихъ домовъ Петербурга. Звали ее Катериною Харитоновною. Буластова очень дорожила ею, — главнымъ образомъ, за французскій языкъ, образованіе и талантъ спаявать гостей, — но въ корпусѣ не держала, потому что Катерина Хари-

*) *Lombroso, 264, 297. Parent Duchatelet. Jeannel, 234.*

тоновна пила запоемъ, а пьяная дѣлалась язвительна, какъ дьяволь.

— Я ихъ, кровопійцъ, тамъ до бѣлаго каленія доводила... — улыбаясь, рассказывала она. — Въ меня сама Прасковья Семеновна однажды запустила горячимъ утюгомъ... меньше вершка отъ виска просвиסתаль!.. на комодъ упаль, — мраморная доска вдребезги!.. Я говорю: „Глазомъра у тебя, Прасковья, нѣтъ... Я пьяная, а лучше бросить могу, да не стоишь ты: въ писаніи сказано, — блаженъ, иже скоты милуетъ!..“. А она, вѣдьма, какъ поняла, что чуть было меня не ухлопала, струсила и сейчасъ же идетъ отъ меня вонъ изъ комнаты, вся бѣлая, какъ платокъ... Понимаешь? Она отъ злости, обыкновенно, кровью наливается, какъ клюква, а тутъ побѣлѣла... ага?! это серьезно! А я за нею слѣдомъ и шпыняю ее, шпыняю... И вдругъ обернулась она, понимаешь, ко мнѣ, — глаза — какъ олово и огромнѣйшіе, — и говоритъ тихо, съ самою лучшею вѣжливостью: „Катерина Харитоновна...“, слышишь? слышишь: уже не Катька-стерва, а Катерина Харитоновна?! — „Катерина, говоритъ, Харитоновна! Сдѣлай божескую милость: отойди отъ меня!.. Убью я тебя, — и не отвѣчу... да все же души человѣческой жалъ!“. Будь добрая: пожалѣй и себя, и меня!..“ Ну, признаюсь, я оторопѣла... Шутка ли? Этакого крокодила до молитвъ довела!..

— Скажите, пожалуйста, — саркастически спрашивала она Машу, что собственно заставляетъ васъ терпѣть эту чортову каторгу?

— Что же? повѣситься? въ воду кинуться?

— Зачѣмъ? Взять да просто уйти.

— Легко сказать. А дальше что?

— Ничего страшнаго. Жизнь и воля.

— Какая же воля? Я у Буластовой вся въ лапахъ...

Катерина Харитоновна пыхала папирскою, презрительно улыбаясь, и твердила:

— Предразсудокъ!

— Да что вы, Катишь? Какой предразсудокъ? У меня не можетъ быть честнаго труда, не можетъ быть ни помощи отъ людей изъ общества. Мое прошлое станетъ мнѣ поперекъ всякой честной дороги...

— Ахъ, вы про это!.. — еще презрительнѣе протянула Катишь. — Ну, это-то, конечно!.. Вы правы: въ губернантки намъ съ вами возвращаться поздно!.. И — знаете ли? Не только потому, что Прасковья Семеновна и Полина Кондратьевна помѣшаютъ, а мы уже и сами не пойдемъ...

— Охъ, какъ бы я пошла, если бы можно было вырваться!.. — искреннимъ крикомъ, съ навернувшимися на глазахъ слезами, возразила Маша.

Катерина Харитоновна затаилась папиросою.

— Не смѣю спорить. Пойти-то, можетъ быть, вы и пойдете, но не выдержите, сбѣжите назадъ. Какъ-никакъ, милая дѣвица, все-таки вы уже пятый годъ носите шелковое бѣлье... Вонъ — у насъ рассказываютъ, будто вы вся въ долгу передъ буфетомъ, потому что не можете заснуть безъ портера пополамъ съ шампанскимъ!.. Такъ хорошо отравленной женщинѣ о честныхъ трудахъ помышлять позновато.*) Но какіе бѣсы заставляютъ васъ сидѣть въ нашемъ адѣ? Плюньте вы на этихъ рабовладѣльницъ, живите сами по себѣ, зарабатывайте сами на себя...

— Какъ вы это говорите, Катишь? Срамъ какой!

— Ну, ужъ, миленькая, срамнѣе того, что мы съ вами здѣсь терпимъ, самъ сатана еще ничего не измыслилъ.

— И при томъ... онѣ на меня донесутъ...

*) Покровская, 32. 33. Ломброзо, 445, 446, Cutrera, 25—27.

— Ну?

— Помилуйте! Вѣдь меня... запишутъ! Билетъ заставить взять...

— Ну?

— Да вѣдь это ужъ послѣдній конецъ... ужасъ!

Катерина Харитоновна злобно засмѣялась.

— Суевѣріе! Если ужъ судьба мнѣ гулять по этой поганой дорожкѣ, то я должна, по крайней мѣрѣ, сохранить выборъ, какъ мнѣ удобнѣе, пріятнѣе и выгоднѣе гулять. А съ книжкою ли, безъ книжки ли, съ билетомъ ли, безъ билета ли, — это наплевать!

— Душечка!.. Право, вы такія несообразности... Подумайте: вѣдь тогда я буду... проститутка!..

— А теперь вы кто? — рѣзко и грубо бросила ей въ лицо вопросъ Катерина Харитоновна. Маша подумала, ничего не отвѣтила... изъ глазъ ея закапали крупныя слезы.

— Экая, право, сила — слово? — говорила не безъ волненія Катерина Харитоновна. — Сама — по уши проститутка, а назваться боится!.. И за страхъ и стыдъ назваться готова терпѣть муку мученскую, всю жизнь свою на медленную пытку отдаетъ! За страхъ слова — торгуютъ ею, какъ парною убою! Тысячи наживаютъ ея тѣломъ, а ей за весь трудъ, стыдъ и отвращеніе не оставляютъ даже и рублей. Вѣдь вы нищая, дура вы этакая! За страхъ слова — сидитъ, словно преступница какая, замурованная наглою бабою, противъ всякихъ правъ, въ четырехъ стѣнахъ! За страхъ слова терпитъ, что ее иной разъ бьютъ по рожѣ или луняютъ мокрымъ полотенцемъ, а коли захотятъ, куражъ такой найдетъ — то отлично и высѣкутъ!*

За страхъ слова поддается пакостнымъ нѣжностямъ лѣшаго

**) Грязновъ, 126. Живаревъ, 22.

въ юбкѣ!.. Или — можетъ быть, „стерпится — слюбится“? Изволили уже примириться и привыкнуть?.. Пожалуйста, не глядите такими возмущенными глазами: я тертый калачъ, меня угнетенною невинностью или поросенкомъ въ мѣшкѣ не проведете... Бываетъ! все бываетъ, голубушка! Особенно съ такими восковыми: что захотѣлъ, то и вылѣпилъ... Мало, что привыкнете, еще и во вкусъ войдете, — привяжетесь.

— Да, да, да! Нечего головою трясти и плечами пожимать!.. Вы, дурочка, сами себя не понимаете, а хотите — я докажу вамъ, что вы уже увязли, это началось?.. Вонъ у васъ на шейкѣ медальончикъ болтается: позвольте спросить, чей въ немъ портретикъ? а въ браслетѣ — другой: чьи въ немъ волосы?

— Господи Боже мой! — вспыхнула Маша, — какимъ пустякамъ вы придаете значеніе!.. Самые обыкновенные знаки дружбы... Она носитъ мой портретъ и волосы, съ моей стороны было бы невѣжливо не отвѣтить тѣмъ же... Что тутъ особеннаго? Всюду и всегда бываетъ между подругами...

— Между подругами! — допекала Катерина Харитоновна, — да какая же, къ чорту, вамъ подруга чуть не пятидесятилѣтняя баба, торговка живымъ товаромъ, заплечный мастеръ въ юбкѣ? Что вы отъ правды то прячетесь — словно страусъ головою въ песокъ? Дружба! А свадьбу играть и задолжать Буластихѣ двѣ тысячи за угощеніе — это дружба? А сниматься въ фотографіи парочкою новобрачныхъ, она во фракѣ, вы въ вѣнчальномъ туалетѣ, это тоже дружба? А заказывать визитныя карточки, съ ея фамиліей, — „Марья Ивановна Селезнева, урожденная Лусьева“, — тоже дружба?

— Но, Катись, вѣдь это же игрушки! Ну... пусть глу-

пья, нелѣпья, пошлыя, если вамъ угодно... но не болѣе, какъ игрушки! Знаете, жизнь такъ скучна и однообразна, мужчины такъ отвратительно осточертели *), быть и чувствовать себя вещью продажною такъ ненавистно отошлѣло, что хочется хоть немножко себѣ воли дать, попраздновать и позабавиться по своему...

— Знаю, что игрушки, но согласитесь, что, годъ тому назадъ, вамъ подобныя игрушки не пришли бы въ голову, а сейчасъ онѣ вамъ очень нравятся, и вонъ какъ вы вскинулись на меня въ ихъ защиту... Игрушки! Тутъ, милая моя, въ одной квартирѣ есть парочка — армянка съ финною... Такъ имъ, въ игрушкахъ то этихъ, показалось мало свадьбы: что за бракъ безъ дѣтей? давай ребенка!.. А, какъ Буластиха имъ взять на воспитаніе младенца, конечно, не позволила, то купили эти двѣ дурынды въ Гостинномъ Дворѣ огромнѣйшую куклу себе и вотъ уже третій годъ растятъ ее, очень горюя, что не растетъ и глухонѣмая. Рядятъ своего идола — именно ужъ какъ куколку, тратятся, празднуютъ именины и день рожденія... Игрушки то игрушки, а, пожалуй, есть и немножко сумасшествія... *idée fixe*...

— Ну, ужъ я то до подобной глупости никогда не дойду.

— Не ручайтесь за себя, красавица моя, ой, не ручайтесь! Вы по этой наклонной плоскости ужасно быстрые шаги дѣлаете... можетъ быть, именно потому, что вы красавица! Вѣдь Федосья вертитъ вами, какъ перышкомъ, и признайтесь, что вамъ уже доставляетъ нѣкоторое удовольствіе не имѣть своей воли, чувствовать себя въ крѣпкой рукѣ и повиноваться... **)

*) *Lombroso. Martineau. Havelock Ellis. Forel.*

**) *Ломброзо 423. 424.*

— Да если я знаю, что она меня любитъ, желаетъ мнѣ добра, и я за нею, какъ за каменною стѣною, — никто меня не смѣетъ обидѣть? Я не знаю, право, какъ вы судите, Катя. Тутъ изъ одной благодарности можно полюбить и, какъ вы выражаетесь, привязаться...

— Вотъ, вотъ! И замѣчательно это, право. Сколько подобныхъ вашему романовъ ни наблюдала я въ нашемъ пеклѣ, всегда одна и та же линія: вотъ этакая грубѣйшая идолица, рожа, на всѣхъ звѣрей похожа, командуетъ и властвуетъ, а красавица ходитъ передъ нею по ниточкѣ, не знаетъ, чѣмъ своему, съ позволенія сказать, супругу лучше угодить и чрезвычайно своимъ дурацкимъ положеніемъ довольна...*) Погодите, Машенька! Теперь васъ ревнуютъ, а придетъ время — вы будете ревновать... да, да, да! не усмѣхайтесь и не дергайте вашимъ изящнѣйшимъ носикомъ!.. Страдать будете, плакать, не спать ночей, закатывать истерики, дѣлать сцены, вступать въ драки съ соперницами, съ ножомъ бросаться... Навидалась я: каждый годъ примѣры... Да и что ужъ грѣхъ таить? Когда то сама прошла по этой дорожкѣ. Перхуниху видали? знаете? Два года ея рабою была, прежде чѣмъ она меня сюда не спустила, къ Буластихѣ въ кабалу... И, горькимъ опытомъ, прямо говорю вамъ, Маша: берегитесь! Изъ всего, чѣмъ опасна наша милая профессія, это, послѣ сифилиса, всего хуже... зыбучій песокъ невылазный, трясина засасывающая... Да... Тьфу!..

Она плюнула со злобнымъ отвращеніемъ, ударила по столу крѣпкимъ бѣлымъ кулакомъ и свирѣпо заходила по комнатѣ, безжалостно волоча хвоста дорогого шалеваго капота по усѣянному окурками полу.

*) *Parent Duchatelet.*

L

— Поймите, вы, голова съ мозгами! Хуже положенія, глубже паденія, чѣмъ наше съ вами, не бываетъ. Не только проститутка-одиночка, даже проститутки въ домѣ терпимости — свободныя птицы сравнительно съ нами! Ихъ вонь филантропы оберегаютъ, спасать стараются, а насъ... насъ не то что оберегать, не то что спасать, — къ намъ подступиться никакой посторонней охранѣ предлога нѣтъ! о насъ человѣческая доброта и догадаться не въ состояніи! въ колодцѣ мы!.. Вотъ въ какомъ мы мерзкомъ рабствѣ сидимъ! Мы — живыя вещи... да еще вдобавокъ и не купленные, а взятыя разбойничьимъ захватомъ! Отъ слова-то бѣжали мы, бѣжали, береглись, береглись, а въ дѣлѣ-то, въ самой вещи, себя въ конецъ погубили... Вотъ вы огласки боитесь... А между тѣмъ, — ну что, что можетъ сдѣлать вамъ огласка хуже, чѣмъ вы терпите сейчасъ?!

— Стыдно! — вырвалось у Маши.

— Слушайте-ка лучше, какъ я поступила бы на вашемъ мѣстѣ, — зашептала Катерина Харитоновна. — Я бы урвалась какъ-нибудь изъ дома или изъ квартиры, да больше ужъ и не вернулась бы...

— Паспортъ мой у нея...

— Паспортъ — ерунда! Паспортъ она обязана отдать. Если задержать — на то мировые въ Питерѣ сидятъ, черезъ полицію можете требовать. Паспорта задерживать нельзя. Врешь! Отдашь! До суда доводить не потерпите!... Ну, конечно, Буластиха вамъ не спуститъ, изсрамить васъ какъ нельзя лучше... да передъ кѣмъ? Передъ участковымъ, да агентами, да докторомъ? Небось, братъ! большого шума поднять не посмѣетъ: самой дороже!...

— А что должна-то я ей?

Катерина Харитоновна присвистнула.

— Должна? Нашли о чемъ говорить. Нынче и зарегистрированныхъ проститутокъ долгами запугивать не велѣно, — а вашъ долгъ — какой же долгъ? Весь дутый и ничего нестоящій!*). Вы думаете, она осмѣлится предъявить вашъ документъ ко взысканію? Нѣтъ, матушка! Говорю вамъ, — самой дороже! Рискуетъ многимъ! Хорошо! Она предъявила ко взысканію, а вы объявляете документъ выданнымъ безденежно. Выманили, молъ! силою взяли! Дѣло-то перейдетъ въ уголовный порядокъ. Съ васъ, все равно, взятки гладки, потому что вы голы, какъ церковная мышь, а ей надо доказать, почему это и какъ она передавала своей лектриссѣ... вѣдь вы при ней лектриссою, что ли, числитесь:

— Лектриссою.

— Неважное кушанье!... Чортъ знаетъ, что! Лектрисса при бабѣ, которая, за всю жизнь свою, конечно, ни въ одну книгу не заглянула, да еще вопросъ, знаетъ ли она грамотѣ то — дальше, чѣмъ нацарапать свое имя и фамилію... Хорошо-сь. Что такое лектрисса? Горемыка — максимумъ на тридцать рублей въ мѣсяцъ, чаще на двадцать, на пятнадцать, а то и за комнату и столъ... Почему же вы вдругъ оказались въ глазахъ госпожи Буластовой такою кредитоспособною особою, что она отвалила вамъ экую уйму денегъ займа безъ всякаго обезпеченія? Помилуйте!

Да это самому глупому и близорукому прокуроришкѣ въ глаза чкнетъ, въ чемъ тутъ суть, — такая ясная видимость... Пойдетъ ли Прасковья на подобный рискъ? что вы! Она себя бережетъ и соблюдаетъ до крайности, чтобы никакой прищипочки-ниточки на себя не дать. Вѣдь ежели расшевелить нашъ муравейникъ, такъ ей будетъ каторги мало. За исключеніемъ

*) *Елистратовъ, 18. Золотиревъ. 66—68. Живаревъ, 22.*

векселей этихъ дурацкихъ, вы чисты предъ нею? уголовщины за вами нѣтъ?

— О, нѣтъ, этого нѣтъ!

— Тогда у нея останется именно только та возможность, что она васъ „накатитъ“^{*)}).

— Какъ это?

— Пошлетъ анонимный доносъ на васъ, что вы тайная проститутка, и доказательства приложить... А вы — возьмите, да ее предупредите... сами заявите въ полицію! А какъ книжку получите, — ваша воля, какъ тогда съ собою распорядиться. Хотите остаться проституткою, оставайтесь; не хотите, — ступайте къ пріютскимъ дамамъ, — я вамъ, если желаете, дамъ адресъ, — заявите, что, молъ, желаю на исправленіе... Отбудете тамъ на испытаніи срокъ, сколько у нихъ полагается, и шабашъ: уѣзжайте изъ Петербурга въ городъ, гдѣ васъ не знаютъ... Богъ вѣсть, — можетъ быть, вы и въ самомъ дѣлѣ еще не вовсе потерянная... гдѣ-нибудь, при хорошей поддержкѣ, выѣдете на дорогу!

— Эхъ, какъ хорошо бы, если бы такъ!...

— А хорошо, такъ и нечего зѣвать... валяйте!

— Страшно! — прошептала Маша и закрыла лицо руками.

Катерина Харитоновна окружилась облакомъ табачнаго дыма.

— Что говорить? Ампутація не изъ легкихъ... А, только безъ нея нельзя. Либо гнить, либо жить.

— Такъ что вы думаете, — послѣ нѣкотораго молчанія возвысила голосъ Маша, — вы думаете... помогло бы?

Катерина Харитоновна пожала плечами.

^{*)} „Понтъ“ (гость, баринъ,) „накатитъ“—argot петербургскихъ хулигановъ. („Всемирный Вѣстникъ“, 1903.) 143.

— Увѣрена.

— Были примѣры? .

Катерина Харитоновна, сквозь дымное облако, кивнула головой.

— Запопала имъ въ лапы, — протяжно начала она, — нѣкая Лиляша, прелюбопытная особа, москвичка родомъ и не изъ простыхъ. Насъ съ вами здѣшняя сволочъ дразнить благородными и образованными, а Лиляшу не грѣхъ было бы и ученою назвать. И изъ семьи такой — интеллигентной, профессорской, даже очень извѣстной, — только, какъ видно, правда, что въ семьѣ не безъ уroda. Какъ она свертѣлась и „дошла до жизни такой“ это я вамъ когда нибудь въ другое время расскажу, на досугѣ, сейчасъ не въ томъ дѣло. Летѣла, свертѣвшись, какъ водится, со ступеньки на ступеньку, — сперва въ Москвѣ, а, какъ изъ Москвы ее выставила полиція, примандровала сюда. По барству своему, работала она съ факторшей, а факторшей имѣла свою бывшую горничную, Дросиду Семеновну. Вы ее, конечно, знаете. Теперь она у Буластихи держитъ квартиру на отчетѣ. Шельма, какихъ мало. Расчитывала Лиляша устроиться къ Рюлиной, — промаянулась: Аделька забракowała, что стара. Ну, — къ Буластихѣ. Здѣсь хозяйка съ Ѳедосей обрядили ее въ хомутъ, — валяй въ хвостъ и въ гриву! Долго ли, коротко ли, — не стерпѣла, взвыла. Улучила случай, что занесло къ намъ богатенькаго „понта“, который зналъ ее въ приличныхъ барышняхъ, да, по сговору съ нимъ, — взялъ онъ ее къ себѣ на домъ, будто на ночевку, — поѣхала и, ау, не вернулась!.. очень просто!..

— Что же, этотъ „понтъ“ на содержаніе ее, значитъ, взялъ? — перебила Маша.

— Нѣтъ, только помочь выбраться изъ нашей ямы.

— Выбраться... А дальше то, выбравшись, какъ?

— А дальше, конечно, сперва пришлось Лиляшкѣ туго.

Накатила ее Буластиха, и было все по порядку, чего вы, Маша, боитесь: участок, книжка, докторскіе осмотры, сыщики, — весь жалкій жребій проститутки-одиночки...

Погибель! Казалось, нѣтъ тебѣ другого исхода: судьба такъ и претъ тебя рожномъ кончать жизнь либо въ рѣкѣ, либо въ бардакѣ. И вдругъ — случайная встрѣча тоже съ стародавнимъ знакомымъ... артистъ оперный Леонидъ Яковлевъ... конечно, слыхали?... Узналъ Лиляшу, ахнулъ, видя, до чего она пала и въ какой грязи тонетъ, и помилосердовалъ: выдернулъ увязшую изъ трясины и поставилъ на ноги...

ЛІ.

Маря Ивановна, съ недовѣріемъ, качнула головою.

— Ну... ужъ это ей, вашей Лилянѣ, повезло счастье какое то необыкновенное! Должно быть, въ сорочкѣ родилась.

— Конечно, счастье, — согласилась Катерина Харитоновна, — да вѣдь счастье то летучая птица: его надо за хвостъ ловить тоже на волѣ, изъ клѣтки не поймашь.

— И что же? — допытывалась Марья Ивановна, — съ легкой руки Яковлева, Лиляша вернулась въ честную жизнь и устроилась, какъ порядочная женщина?

Катерина Харитоновна усмѣхнулась уклончиво, въ новыхъ клубахъ табачнаго дыма.

— Это — какъ взглянуть. Во всякомъ случаѣ, изъ продажныхъ вышла... Русскую капеллу — хоръ Еллены Венедиктовны Мещовской — слыхали? Это — она, Лиляша!

— Вотъ оно что! — протянула Марья Ивановна съ замѣтнымъ разочарованіемъ. Но Катерина Харитоновна продолжала одушевленно, одобряя и почти гордясь:

— Передъ всѣми хорами она — въ первую очередь...

И состояніе имѣеть, и любовникъ ея, съ которымъ она живетъ, человѣкъ прекраснѣйшій...*) Такъ то-съ!.. Ну? что же вы молчите? не соблазняетъ васъ?

— Да, видите ли, — нерѣшительно откликнулась Маша, — видите ли, Катишь... Сколько тутъ было благопріятныхъ условій для вашей Лиляши... И, всетаки, чего же она, наконецъ то, достигла? Только что изъ дѣвицъ сама выскочила въ хозяйки...

Катерина Харитоновна поправила быстро и недовольно:

— Да, въ хозяйки, но хора, а не чортъ знаетъ чего!

Но Марья Ивановна не уступила.

— Ахъ, Катишь, велика ли разница? Знаемъ мы, что за штучка ресторанный хоръ. Хозяикъ да старостихъ лафа, а пѣвчикамъ не лучше, чѣмъ намъ, горемычнымъ...

— Я не спору, что такіе хоры бываютъ...

— Большинство, если не всѣ! — настаивала Марья Ивановна.

— Только не хоръ Елены Венедиктовны, — съ увѣренностью защищала Катерина Харитоновна. Она и сама своими дѣвушками не торгуетъ, и всякой дѣвушкѣ, на которую проституція закидываетъ петлю, рада дать пріютъ, совѣтъ и помощь... И вотъ — запомните ка на всякій случай. Еслибы вы, въ самомъ дѣлѣ набрались ума и смѣлости, чтобы удрать, я могу васъ устроить въ хоръ къ Еленѣ Венедиктовнѣ — и подѣ-ея рукою плевать вамъ тогда на Буластиху, хотя бы она вамъ и въ самомъ дѣлѣ, всучила желтый билетъ. Лиляшка меня помнить и любить, а фокусы хозяйскіе знаетъ по собственному опыту. Моя рекомендація для нея важнѣе документа...

— Спасибо, Катя, но... у меня же голоса нѣтъ?!

*) Исторіи „Лиляши“ посвященія мой романъ того же названія — „Лиляша“ (Рига. Грамату Драгисъ. 1928),

— И не надо: наружностью возьмете. Ну? что же вы мнетесь? всетаки, не нравится?

— Знаете, Катя...

— Нѣтъ, не знаю... Ну?!

— Да, вотъ... скажемъ, сажу я въ ресторанъ съ кавалеромъ, хоры поютъ, а какая нибудь изъ хористокъ обходить столики съ тарелочкою, собираетъ, кто сколько положить...

— Ну, да, и вотъ на это то именно и посылаютъ такихъ, какъ вы, которыя голосомъ не вышли, а собою хороши.

— Какъ хотите, Катя, но это ужасно стыдно и оскорбительно!

— Та-акъ! А сидѣть въ ресторанъ продажною дѣвкой при случайномъ „понтѣ“ — это что же, по вашему, красивое и гордое положеніе, что ли?

— Всетаки, не она мнѣ, а я ей на тарелочку то бросаю...

— Ничего вы не бросаете, потому что въ карманѣ у васъ дай Богъ двугривенному найтись...

— Ну, все равно, попрошу, — кавалеръ ей бросить... Слѣдовательно...

— Въ дѣвкахъ лучше?—язвительно обрѣзала Катерина Харитоновна.

Маша сконфузилась до слезъ на глазахъ.

— Ну, зачѣмъ вы такъ грубо, Катя? Не вовсе ужъ мы такія...

— Нѣтъ, миленькая, нѣтъ! утѣшать себя самообманами не извольте! Такія, очень, чрезвычайно, совершенно такія!

— Ну, — обидѣлась и надулась Маша, — я съ вами объ этомъ спорить не стану: это у васъ пунктикъ, васъ не переубѣдишь. Что ваше положеніе ужасное и горькое, я знаю не хуже васъ, но, всетаки, дѣвкой себя не чувствую и никогда не назову...

— Ахъ! — съ гримасою передразнила Катерина Харито-

новна, — ахъ! „Я не кошка, а киска!“ — подумаешь, благополучіе какое!

Но Маша сердито упорствовала:

— Да ужъ кошка или киска, а пойти въ хоръ — это, какъ вамъ угодно, значить со ступеньки на ступеньку... шагъ еше внизъ... почти вродѣ какъ въ прислуги...

Катерина Харитоновна желчно захохотала:

— Чортъ знаетъ, что такое! — воскликнула она, заминая гнѣвнымъ толчкомъ большой бѣлой руки окурокъ своей папирасы въ подпрыгнувшей пепельницѣ. — Неужели вы, несчастная раба, которая, чтобы не быть ежечасно битой отъ хозяйкиной руки, должна цѣпляться, какъ утопающая за спасательный кругъ, за юбку чорта-экономки, — неужели вы, Маша, еще имѣете наивность воображать себя на какомъ то особомъ уровнѣ — выше вашихъ „корпусныхъ“ кухарокъ, горничныхъ, Артамона, Федора и всякихъ тамъ прочихъ?... „прислугъ“?

— Конечно! — храбро возразила Маша, — если я позвоню или позову, то горничная ли, Артамонъ ли, Федоръ ли идутъ ко мнѣ: что вамъ угодно, барышня? И, что я велю, они должны сдѣлать, а не то имъ будетъ гонка отъ Федосьи Гавриловны. Вотъ они служатъ, они прислуга, а я нѣтъ... Я барышня!

Катерина Харитоновна продолжала хохотать.

— Разсудила, какъ размазала! Вотъ логика! Ну, Машенька, извините, но, право же, вы гораздо больше дурочка, чѣмъ я ожидала... Жалкое вы существо! Да вѣдь съ равнымъ правомъ корова въ хлѣву можетъ считать себя барышней и воображать своею прислугою скотницу, которая къ ней представлена, чтобы держать ее въ чистотѣ и задавать ей кормъ!..

Она примолкла, закуривая новую папиросу. Потомъ заговорила, развѣвая рукою предъ лицомъ дымъ.

— Но, милая моя, если вы забрали себѣ въ мысли, будто отъ Буластихи уйти стоитъ только съ перспективою возвыситься

въ принцессы или герцогини, то дѣло ваше плохо: тутъ вамъ и сгнить... Чудесъ сказочныхъ у насъ не бываетъ!

— А Женя Мюнхенова? А Юлія Заренко? — напомнила Маша.

Катерина Харитоновна язвительно ослабила ротъ, сверкнувъ прекрасными зубами, лишь чуть чуть слишкомъ золотистыми отъ непрерывнаго куренія — „папироса на папиросу“.

— Во первыхъ, вы, Машенька, хотя дѣвочка очень недурная собой, но, къ несчастію, все же не богиня красоты, какъ Женя Мюнхенова, и, къ счастью, не такая архибестія, какъ Юлія Заренко, а, напротивъ, довольно таки глупенькій и трусоватый котенокъ. Во вторыхъ, изъ того, что кто то когда то гдѣ то выигралъ двѣсти тысячъ по трамвайному билету, не слѣдуетъ надѣяться, чтобы подобное счастье повторялось часто. Въ третьихъ, даже и эти то выигрыши приключились у Рюлиной, а не въ нашей помойной ямѣ. Здѣсь вамъ, чѣмъ о великихъ князьяхъ мечтать, гораздо полезнѣе будетъ размышлять о „Княжнѣ“, которая, будучи „отъ Гостомысла“, тѣмъ не менѣе почитаетъ за счастье вступить въ законное супружество съ лакеемъ-ростовщикомъ Артамономъ Печонкинымъ. Такъ что, любезная Машенька, вы этихъ Женъ да Юлій выкиньте изъ головы. А вотъ — открываю я вамъ потайную узенькую лазейку, — ну, и старайтесь, приспособляйтесь, чтобы поскорѣе проскочить въ нее, покуда молоды и не схватили поганой болѣзни, которой рано или поздно и мнѣ, и вамъ, и всѣмъ намъ, рабынямъ, не миновать.

Умолкла и угрюмо утонула въ дымныхъ облакахъ.

— Однако, послушайте, Катинь, — осмѣлилась Маша, — если такъ можно, почему же вы сами не поступите, какъ рекомендуете мнѣ?

Катерина Харитоновна отвѣчала значительно и мрачно:

— Оттого, миленькая, что вы у насъ — въ чужомъ вер-

тепѣ, а я — у себя дома. Мнѣ только здѣсь и мѣсто. Я, Ма-ша, звѣрь, откровенно вамъ говорю. И пьяница, и... чортъ! Отвратительнѣе моего характера нѣтъ на свѣтѣ. Я только на цѣпи, въ рабствѣ, подъ кулакомъ и могу жить безопасно. Если выпустить меня на волю, — я черезъ мѣсяцъ буду въ предварительномъ заключеніи, а черезъ годъ на Сахалинѣ. Меня бить надо, какъ скотину бьютъ, чтобы хозяевъ пони-мала и знала... ну, тогда я — ничего, не кусаюсь!... А то — дикій звѣрь... Нѣтъ для меня воли! Моя воля, говорю вамъ, — Сѣнная площадь, Литовскій замокъ, Сахалинъ!... Ну, а туда я не хочу... Нѣ-ѣ-ѣ-ѣтъ!... Какъ ни подла моя жизнь, а я за нее обѣими руками цѣплюсь... Ни въ каторгу, ни въ могилу!... Нѣ-ѣ-ѣ-ѣтъ... (Типъ Катерины Харитоновны см. у Ломброзо 417—418, у Тарновской. Впо-слѣдствіи буйную проститутку-протестантку хорошо (но въ болѣе низменныхъ условіяхъ) изобразилъ Купринъ въ „Ямѣ“ (Женя). Однако ссылаясь на Ломброзо, я никакъ не имѣю въ виду рекомендовать Кат. Хар. въ качествѣ „прирожденной проститутки“ по теоріи знаменитаго антро-полога, которымъ я когда-то въ молодости весьма увлекался, а потомъ въ ней — опытомъ и изученіемъ — сильно разоча-ровался. Извѣстно, что малая подвижность и долгая устой-чивость порочнаго женскаго типа вызвала въ Италіи гипотезу о проституціонной женской расѣ, формулированную Ферреро и Ломброзо, параллельно съ преступною расою прирожденныхъ преступниковъ. Теорія эта, какъ и другія, родственныя ей, въ итальянской криминально-антропологической школѣ, ког-да то много шумѣла, но быстро растеряла большинство своихъ научныхъ достоинствъ. Листъ и Кохъ разбили ея искусственныя построенія на голову. Одинъ изъ первыхъ русскихъ ея защитниковъ, Дриль, отъ нея отказался. Другой, очень талантливо развѣвъ возможность существованія про-

ституціонной расы и указавъ ея примѣты, убилъ себя заявленіемъ, что за тридцать лѣтъ своей медицинской практики, протекавшей по преимуществу въ проституціонномъ міркѣ, онъ почти ни одной проститутки съ ясно выраженными признаками расы не видѣлъ. Любопытно напомнить, что едва ли не первымъ русскимъ публицистомъ, угадавшимъ жестокую фальшь этой теоріи и энергично противъ нея возставшимъ, былъ Глѣбъ Успенскій).

Ходила, дымно, курила, мела подоломъ. Маша недвижно тосковала, углубленная стройнымъ тѣломъ въ кресло-розвальни, забравшись въ нихъ съ ногами и крѣпко обнявъ руками свои колѣна, точно сама себя удерживала отъ гудящаго въ ногахъ непроизвольнаго позыва — вскочить и бѣжать прочь, куда глаза глядятъ...

— Боже мой, Боже мой! — прервала она молчаніе тяжелымъ вздохомъ, — какое горе! сколько тоски!... Гдѣ же, наконецъ, выходъ то, Катя? Неужели такъ вотъ и помириться на томъ надо, что, хочешь не хочешь, а судьба — сгніемъ?

— Не знаю, какъ вамъ посчастливится, — мрачно возразила Катерина Харитоновна, затыгиваясь новой папиросой, — но за себя я увѣрена. Крестъ поставленъ. Крышка. Выхода нѣтъ.

Марья Ивановна разсуждала.

— Хорошо, положимъ даже, — отчасти я съ вами согласна, — къ такъ называемому честному труду, въ порядочную жизнь намъ возвратиться трудно... Но ужъ хоть бы въ этой то устроиться какъ нибудь получше... чтобы не во все рабство... чтобы хоть сколько нибудь человѣкомъ, женщиной себя чувствовать, а не самкой на скотномъ дворѣ.

— Хуже, моя милая, гораздо хуже. Самокъ не prostituteуютъ, какъ насъ съ вами, изо дня въ день. Самка

орудіе приплода, а мы съ вами закабалены бесплодной похотью. Попробуйте-ка забеременѣть, — сейчасъ же явится почтенный докторъ Либесвортъ устраивать вамъ абортъ. А не захотите, будете упираться, то Буластиха не постѣснится и сама распорядится кулаками да ножницами...

Марья Ивановна продолжала:

— Меня послѣднее время часто бралъ отъ нея одинъ богатенькій студентикъ, бѣлоподкладочникъ, какъ ихъ нынче зовутъ, но самъ онъ говоритъ, будто социалистъ. Такъ онъ все удивляется на насъ, что намъ за охота терпѣть надъ собою хозяекъ, экономокъ и прочую дрянъ, которая насъ обираетъ и тиранитъ. Ежели, говоритъ, вамъ трудно жить свободными одиночками, не достаетъ энергіи на конкуренцію въ промыслѣ, то соединились бы группами, по пяти, шести, десяти и больше, да и работали бы сами на себя, сами управляясь, сами хозяйствуя...

Катерина Харитоновна вынула папиросу изъ рта.

— Ага! „ассоціація“?! — осклабилась она. — Скажите вашему студенту, что это старая пѣсня... ничего не выйдетъ. (Идею проституціонной ассоціаціи проповѣдовали въ Австріи Іерусалемъ („Красный фонарь“), а въ Россіи В. Е. Жаботинскій (впослѣдствіи извѣстный сіонистъ)).

— Почему, Катя? Неужели, въ самомъ дѣлѣ, нельзя однажды такъ столковаться, чтобы всѣмъ за одну, одной за всѣхъ, выбрать изъ своей среды распорядительницу, которая была бы за хозяйку, экономку, кассиршу...

— Нельзя.

— Почему? Начальство не позволить?

— Нѣтъ, что начальство! Начальство — это полиція... А плевать я хотѣла на то, что полиція не позволить. Буластиха тоже не носитъ въ карманѣ бумажки, разрѣшающей

уѣивать Питеръ развратными притонами, однако... Были бы деньги, а съ полиціей счеты простые...

— Думаете, нельзя составить капитала?

— И капиталъ отлично нашелся бы.

— Тогда что же, Катя?

— То, Маша, что дѣло наше не такое, и характеры наши не тѣ, чтобы укладываться въ ассоціацію. Ассоціаціи слагаются свободнымъ соглашеніемъ, а наша профессія рабская. И не только потому, что мы хозяйками закабалены. Нѣтъ, она по самому существу своему рабская. Потому что мы дѣлаемъ то, чего ни одна нормальная женщина иначе, какъ въ порабощеніи, дѣлать не станетъ. Мы рабыни не только нашихъ эксплуататоршъ, но прежде всего, — какъ это красиво называютъ, — общественнаго темперамента, то есть, по просту сказать, разврата. Когда женщина принуждена поработиться разврату, это печально, горько страшно, но — *n'insultez jamais une femme qui tombe!* — общество это понимаетъ и, въ значительной своей долѣ, жалѣетъ и прощаетъ. Какъ прощаетъ вора, укравшаго съ голодухи калачъ, либо даже убійцу, доведеннаго преступленіемъ до кровавой мести. Однако, мой другъ, жалость жалостью, прощеніе прощеніемъ, но и преступленіе остается преступленіемъ, а развратъ развратомъ, и никакіе софизмы васъ не выпустятъ изъ этого кольца. И, будучи проституткой, никогда вы не скажете себѣ самой, что занимаетесь хорошимъ дѣломъ. Будь вы даже хоть сто разъ Соня Мармеладова съ самыми лучшими побужденіями и намѣреніями — губя себя, спасать ближнихъ своихъ... Кстати: вотъ эту неизбѣжную въ нашихъ вопросахъ Соню Мармеладову вы любите?

— Еще бы!

— Уважаете?

— Очень!

— Такъ. Мой закалъ совсѣмъ не тотъ, но все же, я Сою Мармеладову понимаю и представляю себѣ въ каждой черточкѣ и въ каждой нашей профессиональной, какъ говорится, ситуаціи. Достоевскій написалъ ее бланковой одиночкой, — вижу. Заперъ бы онъ ее въ публичный домъ, — вижу. Закрѣпостилъ бы своднѣ или госпожѣ, вродѣ нашей Буластихи, — вижу. Но вотъ членомъ ассоціаціи, устроившейся для добровольной коммерціи своимъ тѣломъ, никакъ не могу я вообразить Сою Мармеладову... и вы не вообразите!

Марія Ивановна молчала обдумывая. Катерина Харитоновна продолжала:

— Обманывать то себя громкими словами легко... кто себя не обманывалъ, особенно смолоду... Ассоціація, корпорація, кооперація... конечно, красивѣе звучитъ, чѣмъ домъ терпимости. Да домъ то терпимости не можетъ быть ни ассоціаціей, ни корпораціей, ни коопераціей, — вотъ въ чемъ бѣда. Пекари, портные, сапожники, модистки, прачки, адвокаты, врачи, актеры, извозчики, — это такъ... почему имъ не объединиться въ ассоціаціи, коопераціи — и какъ тамъ еще?... Но когда жулики, шулера, фальшивомонетчики слагаются въ „ассоціацію“, это называется шайкою, бандою, преступнымъ сообществомъ...

— Что же вы такъ приравниваете? — обидѣлась Маша. — Мы то развѣ жулики или шулера, что ли?

— Нѣтъ, зачѣмъ... Я только хочу вамъ указать, что ассоціаціи опредѣляются не устройствомъ своимъ, но цѣлью, которую онѣ преслѣдуютъ, существомъ профессіи... Ассоціаціи предполагаютъ союзъ людей, уважающихъ свой трудъ, уважаемый и обществомъ. Какъ насъ общество уважаетъ, что ужъ говорить! А о собственномъ уваженіи... вѣдь, вотъ и вы же сейчасъ прелестно обмолвились, что

намъ поздно возвращаться къ честному труду. Значить, хотя за сравненіе съ жуликами обидѣлись, однако сами то считаете свой трудъ безчестнымъ. И прямо вамъ скажу: тридцать восьмой годъ живу на свѣтѣ, девятнадцатый гуляю, всякія чудеса видала, но такого, чтобы проститутка уважала свой трудъ, — нѣтъ, не видывала... и не увижу! Есть, пожалуй, тупицы, безсознательно, животнo довольныя своимъ положеніемъ, есть бахвалки, хвастуны, есть холодныя хищницы, которымъ промыселъ — по Сенькѣ шапка, но уважающихъ его и себя въ немъ нѣтъ... Самая оголтѣлая, самая безстыжая, самая убѣжденная торговка собою, которой природа не отпустила ни грана сердца и совѣсти, — и тѣ, всѣ одинаково, знаютъ, что онѣ не по закону природы женской, но грѣхомъ человѣчимъ живутъ... Ну, а сообщество для эксплуатаціи человѣческаго грѣха, конечно, не „ассоціація“, но шайка такая же, какъ компанія шулеровъ или фальшивомонетчиковъ!... А если оно, такое порочное сообщество, не хочетъ быть шайкою, но обманывая себя, упорствуетъ рядиться въ „ассоціаціи“, то быстро погибаетъ въ комедіи, которая была бы смѣшна, если бы не сокрушались въ ней души и жизни женскія... Вѣдь это, Машенька, вашъ студентъ не новость вамъ проповѣдуетъ, пробованное дѣло. (Идея давняя, идея расцѣта буржуазіи, выношенная во Франціи конца имперіи. У насъ же еще некрасовскій Леонидъ провозглашалъ общественнымъ идеаломъ „мысль центрального дома терпимости“, повторяя собою античнаго Солона, который наполнилъ государственныя диктеріи невольницами, дабы общественный темпераментъ не обращался на гражданокъ. Любопытно, что идея Леонида чуть было не осуществилась лѣтъ шесть назадъ въ Софіи, и уже было воздвигнуто прекрасное зданіе для этой государственной цѣли, но затѣя рухнула изъ-за негодованія

болгарскихъ женщинъ и... отказа проститутокъ!) И за границею, въ Германіи и Австріи, нѣмочки пытались, и у насъ въ Петербургѣ было... Про „Фениксъ“ слышали? Имя Аграфены Панфиловны Веселкиной вамъ извѣстно?

— Да... но какое же отношеніе? Ея „Фениксъ“ обыкновенный, только очень шикарный, открытый публичный домъ съ билетными дѣвицами.

— Совершенно вѣрно, но выросъ онъ именно изъ такой вотъ „ассоціаціи“, которая вамъ мерещится... Я эту исторію могу вамъ рассказать въ безошибочной подробности, потому что сама принимала въ немъ участіе, да, слава Богу, во время убралась...

ЛШ

АССОЦІАЦІЯ „ФЕНИКСЪ“.

I.

Была въ Питерѣ, лѣтъ пятнадцать тому назадъ, нѣкая Анна Михайловна Р., по кличкѣ Нинишъ Брюнетка. Дѣвица средней красоты. Острили о ней, что у Нинишки глаза убійственныя молніи, да, на счастье, носъ громоотводъ: на двоихъ росъ, одной достался. Была образованная, изъ свертѣвшихся институтокъ, — значить, даже не плохой фамиліи. Публика понтовая у нея тоже бывала все больше интеллигентная, — литераторы, университетъ. И вотъ какой то изъ нихъ краснорѣчивый шутъ гороховый вбилъ Нинишкѣ въ голову идею — объ ассоціаціи.

А характера эта черномазая Нинишка была такого, что, ежели ей что захотѣлось, то — хоть звѣзду съ неба — вынь да положь. Страстная, кипучая, сущій самоваръ.

Мать то ея была французенка или итальянка какая то; должна быть, отъ нея и дочкѣ достался южный темпераментъ, — замѣчательно, какая была непосѣда, затѣйщица, хлопотунья и устроительница. А такъ какъ Нинишь была закадычная пріятельница съ Толстой Зизи и Анетой Блондинкой, — тоже тогда въ гору шли, — то, вотъ, значить, зерно „ассоціаціи“ уже и составилось.

И принялись онѣ втроемъ пропагандировать, да такъ удачно, что вскорѣ сбили въ свою компанію самыхъ, что ни есть, лучшихъ петербургскихъ одиночекъ. Ида Карловна, Марья Францевна, Нинишь Брюнетка, Толстая Зизи, Анета Блондинка, Нюта Ямочка, Берта Жидовка, Дунечка Макарова, Анна Румяная, Ариша Кормилица, Юлька Риемачка и Катька Злодѣй, то есть я, ваша покорнѣйшая слуга, тогда еще совсѣмъ молоденькая: три года, какъ свихнулась, второй годъ, какъ гулять пошла. Всѣхъ — ровно дюжина: Бываль у насъ писатель одинъ, строчилъ стихи въ „Стрекозѣ“ да „Осколкахъ“, — такъ онъ прозвалъ насъ: „Ассоціація двѣнадцати не спящихъ дѣвъ“.

Удивительно, право, какъ всѣхъ насъ тогда захватила эта затѣя! Ну, добро бы дѣвчонокъ, какъ я, Нюта Ямочка и Дунечка Макарова, либо простушекъ, какъ Анна съ Аришей, которыя въ газетахъ разбирали только крупные, заголовки, да и то по складамъ, а писать умѣли только свое имя, фамилію, да и то каракулями. Нѣтъ, увлеклись и такія опытныя, прожженныя, можно сказать, особы, какъ Ида Карловна и Марья Францевна: обѣ еврейки, обѣимъ уже подъ сорокъ, обѣ лѣтъ по двадцати въ работѣ и прошли въ ней огонь и воду, и мѣдныя трубы... Словно повѣтріемъ какимъ то дурманило, — право!

Заинтересовали богатенькихъ „понтонъ“. Добыли денегъ. Базилевскій, извѣстный филантропъ, десять тысячъ

далъ. По горному департаменту, черезъ Толстую Зизи, столько же достали отъ тамошнихъ тузовъ, Кок—рова, Ск—овскаго. Адвокатъ К—нинъ Анетъ Блондинкѣ пять тысячъ отсыпаль. Сами мы всѣ жертвовали, не жалѣли. Нинишъ свои брильянты продала, Зизи коляску, я часы и браслетъ... всѣ — кто сколько въ состояніи. Сколотили очень порядочную сумму и рѣшили ставить дѣло на широкую ногу, шикарно.

Наняли на Офицерской чудесную квартиру, полуособнякъ, меблировали ее на славу самоновѣйшимъ модерномъ. Швейцаръ, два лакея, бѣлая кухарка, кухарка просто, судомойка, три горничныя изъ нихъ одна — та самая Грунька, которую теперь величаютъ Аграфеной Панфиловной Веселкиной и считаютъ въ милліонѣ.

II.

И вотъ возникъ нашъ ассоціаціонный старый „Фениксъ“.

Новшества благородныхъ напридумали и ввели—страсть! Все Нинишка старалась, изъ книжекъ вычитывала. Для врачебныхъ осмотровъ пригласили женщину-врача, — неглупая была бабенка, Марьей Николаевной, звали, — и просили ее, чтобы все у насъ въ „Фениксѣ“ было по послѣднему слову гигиены. Влетѣло таки въ копеечку. Двѣ фельдшерицы всегда на лицо: одна дежуритъ днемъ, другая ночью.*) Гостей принимать условились только по рекомендаціи, съ ручательствомъ и — на волю барышни: хочетъ, принимаетъ; не хочетъ, не идетъ. Между собою — чтобы самое вѣжливое обращеніе, никакой похабщины и, прежде

*) *Мартино, 142.*

всего, долой всѣ профессиональныя клички! Нѣтъ больше Катеѣ Злодѣевѣ, Нинишкѣ Брюнетокѣ и Аноѣ Румяныхъ, а есть Катерина Харитоновна, Анна Андреевна... Какъ-то случайно у насъ много Аннѣ подобралось; на двѣнадцать—четыре!..

Это правило намъ особенно нравилось. Какъ то больше чувствуешь себя человѣкомъ, когда зовутъ тебя по имени и отчеству. Вспоминаешь, что и ты отцовская дочь, въ семьѣ дѣвочкой родилась, а не въ собачьей конурѣ щенкомъ-сученкой, кокорой дали кличку по примѣтамъ да такъ съ нею и пустили на вѣкъ гулять по свѣту... За гигиеническія мѣры тоже можно было сказать спасибо Нинишкѣ съ Марьей Николаевной. Благодаря имъ, у насъ въ „Фениксѣ“, за все время „ассоціаціи“, не было ни одного случая „сифа“.

Интересъ въ „веселящемся Петербургѣ“ мы возбудили очень большой. Повалила къ намъ самая шикарная мужская публика — балетные первые ряды,^{*)} иностранные коммерсанты, министерскіе виверы. Хозяйки тайныхъ притоновъ, и открытыхъ домовъ всполошились. Очень натравливали на насъ полицію, что мы затѣваемъ чуть не революцію. Но нашу руку крѣпко держалъ полицеймейстеръ Е., постоянный Нинишкинъ гость, человѣкъ веселый и добрый. Нашъ опытъ онъ находилъ очень забавнымъ, дразнилъ насъ своими соціалистками и раза два, а то и три въ неделю ужъ обязательно кончалъ свой вечеръ у насъ въ „Фениксѣ“, что обходилось намъ, на шампанскомъ, коньякѣ и сигарахъ, не дешево, но зато сидѣли мы за спиною Е., какъ за каменною стѣною. А у самого градоначальника, знаменитаго генерала Грессера, имѣли мы руку въ одной театральной антрепренершѣ, которая этого стараго чорта молодила каки-

^{*)} *Генне-Амъ-Ринъ. 132.*

ми-то таинственными снадобьями, а потому имѣла надъ нимъ власть, почти что безотказную.

Эти протекціи, конечно, стоили большихъ денегъ. Особенно, антрепренерша. У полицеймейстера, хотя тоже не дуракъ былъ взять, но больше Нинишка натурой отдувалась, а эта театральная шельма была безсовѣстно жадная нена-сыть, настоящая півка.

3.

За старшую въ „Фениксъ“ мы выбрали и посадили Иду Карловну Л. Во-первыхъ, потому, что она была всѣхъ насъ старше годами и имѣла большую представительность; во-вторыхъ разсудили:

— Ты, Ида, еврейка, ваша еврейская нація практическая, значить, тебѣ и хозяйствовать въ дѣлѣ, — бери ключи и командуй!

Однако, Ида, хотя еврейка, оказалась самою безхарактерною рохлею и размазною и, по безпечному своему добродушію, повела „Фениксъ“ на такихъ слабыхъ возжахъ, что онъ сразу врозь полѣзъ, и уже черезъ мѣсяць мы едва не прогорѣли.

Вотъ тутъ-то, Маша, и сказалось, что нашему поганому дѣлу женщина можетъ служить аккуратно и усердно только изъ-подъ палки, неотступно надъ нею висящей, а вольною волею, если она сыта, одѣта, обута и имѣетъ кровь надъ головою, чортъ ли ее заставить скверниться?

Никому не стало въ охоту „работать“. Днемъ валяемся по постелямъ, играемъ въ шестьдесятъ шесть, рамсъ, стуколку, вечеромъ разбѣгаемся по театрамъ, циркамъ, кафешантанамъ, либо къ любовникамъ. Гости пріѣдутъ, — принять некому. Счастливый случай, если изъ двѣнадцати три-четыре въ работѣ.

Той нѣтъ дома, эта въ „обстоятельствахъ“, „выкинула красный флагъ“. Которая пьяна до положенія ризъ, которая амурится съ собственнымъ душенькой, которая просто не въ духѣ и рычитъ сквозь запертую дверь:

— А подите вы отъ меня всѣ къ чорту!..

Любовники у всѣхъ днюютъ и ночуютъ, словно въ собственныхъ квартирахъ, спиваютъ, объѣдаютъ, — ревность, ссоры, шумъ и даже до дракъ. Иду никто въ грошъ не ставилъ. Да, надо правду сказать, она, толстая распустеха, и сама во многомъ подавала плохой примѣръ, потому что была ужасно нѣжнаго сердца и вздыхала едва ли не по всѣмъ провизорамъ въ петербургскихъ аптекахъ. Прислуга совершенно отъ рукъ отбивалась. Мужчины пьяны двадцать четыре часа въ сутки, воруютъ, грубятъ Идѣ, грубятъ гостямъ, нагличаютъ съ нами, лѣзутъ въ спальни. Женщинъ, за исключеніемъ Груньки, которая всегда была на мѣстѣ, никогда не дозваться ни за какой нуждой; живутъ себѣ, сложа руки, барынями, дерзятъ, огрызаются волчицами на каждое замѣчаніе, и тоже каждая тащить все, что плохо лежитъ. А когда же и что же у нашей сестры лежитъ хорошо?

Въ хозяйствѣ Ида уже ровно ничего не понимала, а по кухнѣ хранила только слабое воспоминаніе о фаршированной щукѣ, которою лакомилась лѣтъ тридцать тому назадъ, въ своемъ невинномъ шполянскомъ или уманскомъ дѣтствѣ. Поэтому наша пресловутая бѣлая кухарка питала насъ отвратительно, а счета закатывала, словно она готовила на цѣлую кавалерійскую дивизію...

Да, и вообще, по всѣмъ статьямъ хозяйства, расходы ужасные. А доходовъ почти никакихъ... Ой, не выдержать, — лошнемъ!...

Испугались. Рѣшили воскресить порядокъ, завести дисциплину. Иду, къ великому ея удовольствію, смѣстили. Марья Францевна въ старшія ни за что не пошла. И умница: она характеромъ была еще мягче своей кузины Иды, а безсребренница прямо-таки до неумѣнія считать, — только лѣнивый не запускать лапу въ ея дырявый карманъ... Надумались пригласить старшую со стороны.

Какъ разъ въ то время Эстеръ Лаусъ, немолодая дѣвица изъ бойкаго заведенія у Банковаго моста, задумала остепениться. Сдала книжку, взяла паспортъ и вышла изъ разряда. По подпольямъ нашего темнаго мірка она имѣла громкую репутацію особы энергической и, изучившей свою среду до несравненнаго совершенства. Едва ли, дескать, найдется въ Питерѣ другая, которая такъ обстоятельно знаетъ и такъ тонко понимаетъ нашу сестру и умѣетъ съ нею обращаться. Выписалась изъ разряда Эстеръ въ расчетъ остаться экономкою въ томъ же самомъ заведеніи, гдѣ она нѣсколько лѣтъ работала барышней. Хозяйка заведенія охотно брала ее въ экономки, но Эстеръ требовала, чтобы хозяйка приняла ее въ компанію, на что та, боясь ея хитраго и дерзкаго нрава, никакъ не соглашалась. Такимъ образомъ Эстеръ неожиданно осталась не у дѣлъ... Что же? попробуемъ, призовемъ ее владѣть и править нами!

Тоже была еврейка, но уже совсѣмъ другого закала. Вышла у насъ въ лицахъ басня о лягушкахъ, просившихъ царя. Толстуха Ида была чурбанъ бездѣятельный, а въ красноносой Эстеркѣ обрѣли мы сущаго журавля. Здорово насъ скрутила.

Старую прислугу всю повыгнала, только Груньку отстояла наша главная звѣзда и приманка, Нюта Ямочка, заявивъ, что если ея Грушу вонъ, то и она уйдетъ. А новую прислугу

Эстерь поставила на такую ногу, что передъ нею эти люди ходили по стрункѣ, но для насъ сдѣлались вродѣ сторожей или надзирателей. Бывало, одѣнешься на прогулку, — анъ, въ прихожей дверь на лѣстницу заперта.

— Швейцарь, отвори!

— А вы, барышня, имѣете отъ Эсфири Александровны записку на выходѣ?

— Какую записку? Съ ума ты сошелъ?

— Тогда извольте возвратиться, безъ записки не могу васъ выпустить, строго запрещено, могу лишиться мѣста...

Летить къ Эстерь объясняться, — сдѣлайте одолженіе! спорить и собачиться большей охотницы не найти, но отмѣнить, что она однажды постановила, это — нѣтъ, не надѣйся!... Ну, погорячишься, покричишь, а, въ концѣ концовъ, плюнешь:

— Чортъ съ тобой, давай твою дурацкую записку!...

За словами и бранью она не гналась, — на воротахъ не висло, — лишь бы всегда выходило по ея на дѣлѣ.

По хозяйству Эстерь ругалась и орала цѣлыми днями, безъ малѣйшей жалости къ своему горлу и нашимъ ушамъ. А по ланитамъ горничныхъ плюходѣйствовала такъ усердно, что даже и мы, барышни, вчужѣ возмѣли нѣкоторый страхъ и очень изумлялись, почему эти расправы такъ легко сходятъ Эстерь съ рукъ и побитыя женщины не тянутъ ее къ мировому. Но, когда мы ей выражали свое недоумѣніе и просили ее, все-таки, быть осторожнѣе, Эстерь презрительно усмѣхалась: дескать, ученую учить только портить, — оставьте, я знаю, съ кѣмъ имѣю дѣло! И, дѣйствительно, Груньку, напримѣръ, она мало, что никогда пальцемъ не тронула, но и малѣйшее замѣчаніе ей дѣлала самымъ осторожнымъ и ласковымъ тономъ.

Наблюдать террористическое хозяйство Эстерь было довольно отвратительно, но, увы, результаты ее оправдывали: расходы сократились, доходы выросли, дѣло оживилось. Тѣмъ не

менѣ довольны ею мы не были. Многія, — и первая Нинишъ, — стали поговаривать, что, подъ рукой Эстеръ, чѣмъ же, собственно, наша „ассоціація“ отличается отъ любого „заведенія“ въ когтяхъ строгой хозяйки?

На свободное товарищеское предпріятіе, дѣйствительно, мало походило. Съ правилами нашими Эстеръ считалась очень небрежно, выдерживая за то бурныя сцены отъ Нинишъ, Толстой Зизи и Анеты Блондинки, сочинительницъ нашего статута. Консервативная воспитанница публичнаго дома, Эстеръ клялась, что мы сдѣлали все, чтобы связать себѣ руки для торговли, и каждый отказъ барышни принять гостя, служилъ ей поводомъ къ жесточайшей перепалкѣ какъ съ виновною, такъ и съ „установщиками“, которыя отстаивали свободу пріема, какъ краеугольный камень „ассоціаціи“.

Несмотря на согласія, возможно, что Эстеръ удалось бы поставить „Фениксъ“ на ноги, если бы не ея ужасный характеръ, подозрительный до маніи преслѣдованія. Ей все чудилось, будто мы посмѣиваемся надъ ея наружностью. Она пришла къ намъ уже очень увядшею, далеко за тридцать лѣтъ. Молоду она была очень, даже замѣчательно красива, съ единственнымъ недостаткомъ излишней румяности лица. Какой-то шарлатанъ присовѣтовалъ ей приставить на сутки піявки къ носу. Румянецъ, дѣйствительно, поблекъ, зато носъ принялъ цвѣтъ и форму спѣлаго баклажана. И, сколько потомъ Эстеръ ни старалась исправить благопріобрѣтенное безобразіе, успѣла добиться только возвращенія носа къ первоначальной орлиной формѣ, да сизая окраска его выпцвѣла въ пунцовую, которая упорно свѣтила, какъ фонарь, сквозь самыя густыя бѣлила.

Женщина мечтательная и амбиціозная, Эстеръ ждала отъ своей красоты большихъ успѣховъ въ жизни. Проклятый носъ разбилъ мечты и наполнилъ душу Эстеръ ядомъ, котораго избытокъ она щедро расплескивала на ближнихъ своихъ, не раз-

бирая праваго отъ виноватаго. Обманутая, все изъ-за носа, любимымъ женихомъ, она прониклась ненавистью ко всей мужской половинѣ человѣчества и черезчуръ ужъ нѣжно возлюбила нашу, женскую. И въ „Фениксѣ“ у нея тоже не замедлила появиться фаворитка, робкая и смирная тихоня, Дунечка Макарова, слышавшая между нами писательницей, потому что она, каждую свободную минуту, строчила что то въ свой дневникъ, который вела съ педантической аккуратностью и никому не показывала. Эстеръ ее рѣшительно ко всемъ ревновала безъ толка, смысла и соображенія, наполняя домъ бѣшенными, до мучительства, сценами.

Особенно, когда Эстеръ, злобно остря сама надъ собою, что должна же она оправдывать красную вывѣску своего носа, поддавалась запою и принималась глушить свой излюбленный коньякъ Мартель три звѣздочки. Евреи трезвый народъ, а, въ особенности, еврейки. Пьющія изъ нихъ даже въ нашей средѣ рѣдки. Но ужъ если еврейка пьяница, это страшное, обреченное существо. Либо тихая идиотка, быстро идущая на дно животной невмѣняемости, либо чортъ во плоти, какъ Эстеръ. Любопытно, что пьянство ей, точно капитану какого-нибудь китобоя или пиратскаго корабля, нисколько не препятствовало держать руль крѣпкою рукою. Взглянуть, — еле на ногахъ держится, а въ счетахъ замѣчаетъ каждую копеечную ошибку, на мебели новое пятнышко величиною съ булавочную головку, въ туалетахъ малѣйшую небрежность. И сію же минуту — жесточайшій скандалъ.

Съ каждымъ днемъ ея дикій характеръ обнаруживался все свирѣпѣе. Свою безотвѣтную фаворитку, Дунечку Макарову, она колотила походя, пощечины такъ и трещали; а замѣтно было, что сильно чешутся у нея ладони добраться до ланитъ и прочихъ барышень ассоціаціи, не связанныхъ съ нею узами всевыносящей дружбы. Между прочимъ, и у меня съ Эстеръ чуть

не вышло драки изъ-за жалобы одного скота-гостя, что я плюнула въ его стаканъ съ шампанскимъ... Положимъ, эту штуку я дѣйствительно отмочила, потому что мерзавецъ велъ себя свинья-свиньей и говорилъ мнѣ нестерпимыя гадости, но, все-таки, бить меня, Катьку Злодѣя, какой-нибудь красноносой Эстеркѣ — врешь! Руки коротки!

Ну-съ, недовольство накоплялось да накоплялось... Наконецъ, Эстеръ и впрямь осмѣлилась прибить по щекамъ двухъ нашихъ товарокъ изъ простенькихъ, Анку Румяную и Аришу Кормилицу, которая бросилась ихъ разнимать, такъ толкнула съ лѣстницы, что дѣвушка пересчитала тѣломъ всѣ ступеньки и получила растяженіе сухожилія на правой ногѣ.

Терпѣніе лопнуло, послѣдовалъ взрывъ. Мы заявили Эстеръ, что не каторжныя ей достались, этакого рабства, какъ она намъ устроила, и подъ хозяйками не бываетъ, и — убирайся ты отъ насъ ко всѣмъ чертямъ!...

Къ нашему изумленію, она сложила съ себя бремя правленія безъ малѣйшаго протеста и даже какъ бы съ радостью. Распростились честь-честью, безъ всякой злобы, словно никогда и не бранились. Но всѣ обратили вниманіе на ту странность, что съ горничною Грунькой Эстеръ простилась особенно сердечно и даже какъ бы искательно.

Вмѣстѣ съ Эстеръ, вопреки нашимъ просьбамъ и убѣжденіямъ, ушла изъ ассоціаціи Дунечка Макарова. Но свято мѣсто пусто не бываетъ. Ушли двѣ, пришли три и, между ними, писанная красавица, царевна изъ русской сказки и набитая дура, Аня Фартовая, на которую тогда, на музыкѣ, заглядывался весь Павловскъ, до чего великолѣпно хороша. Недаромъ прозвали Фартовой! Ожидали: ахъ, новая Женя Мюнхенова, да еще и не красивѣй ли? То-то карьеру должна сдѣлать! Но оказалось такъ невыносимо глупа и тупа, такое бессмысленное и безстрастное ходячее мясо; что, при всей ея

царь-дѣвичей красотѣ, гости съ нею скучали, къ ней не приживались, и выше обыкновеннаго случайнаго форта въ розницу, — отъ сторублевки къ сторублевкѣ, — она не пошла... Другія двѣ, нѣмочка Каролина и евреечка Лія, не представляли собой ничего особеннаго, кромѣ необычайно дисциплинированной аккуратности въ работѣ. Въ наступившемъ послѣ ухода Эстеръ хаосъ „Феникса“ эти новыя пришельцы, втроемъ, однѣ оказались столпами порядка и субординаціи.

5.

Постановили мы общимъ рѣшеніемъ, что довольно, больше у насъ старшихъ не будетъ, а всѣ мы, по очереди, будемъ старшить — каждая двѣ недѣли. Ну, ужъ изъ этого вышла такая каша, что совѣстно вспомнить.

Ни у одной изъ насъ не нашлось хотя бы капли административнаго таланта. Въ недѣли барышень изъ простыхъ, Анки Румяной, Ариши Кормилицы, Каролины, Ліи, мы, по крайней мѣрѣ, ѣли хорошо, потому что онѣ понимали кухню и умѣли присмотрѣть за кухаркой. Лучшими недѣлями были недѣли Нюты Ямочки, въ чемъ, однако, эта Недвига-царевна, по цѣлымъ днямъ не сходявшая съ мягкой кушетки, была несколько не повинна: за нее распоряжалась ея довѣренная расторопная умница-горничная Грунька. Но при „аристократахъ“, какъ Нинишъ, Толстая Зизи, Берта Жидовка, либо я, многогрѣшная, бывало, обѣдъ — хоть выброси за окно и посылай за другимъ въ греческую кухмистерскую. Опять всѣ пошли вразбродъ, опять никогда никого нѣтъ дома во-время, опять плянье по любовникамъ и любовниковъ къ намъ, опять общее отлыниваніе отъ „работы“.

Юлька Риемачка связалась съ таперомъ, оказалась въ

положеніи, ушла дѣлать абортъ и не вернулась, уѣхала въ Москву, въ открытый домъ. Анка Румяная и Ариша Кормилица, гуляя, чортъ знаетъ съ кѣмъ, на сторонѣ, схватили болѣзнь, — еще двѣ изъ поля вонь! Новенькихъ появлялось много, но всѣ уже второй и третій сортъ, далеко до насъ, которыя начинали. Саша Заячья Губка, Дорочка Козявка, Манька Змѣенышъ, Эмилька Сажень... по прозвищамъ слышите, что неважно, Невскимъ пахнетъ...

Нинишъ, когда пропагандировала ассоціацію, проповѣдывала, — что, чрезъ нее, мы облагородимъ свою несчастную среду. Поди-ка, облагородь ее, когда въ компанію врывается Манька Змѣенышъ — женщина съ двѣнадцати лѣтъ и проститутка съ четырнадцати: въ послужномъ спискѣ — исправительный пріютъ, трижды бланка, дважды Калинкинская больница, однажды лишеніе столицы, то-есть высылка изъ столицы на родину, и судимость по подозрѣнію о кражѣ часовъ у гостя. Дѣвица эта умирала со смѣха, когда Нинишъ пыталась звать ее Марьей Филипповной, и не умѣла связать десяти словъ безъ материны. И, когда ей говорили, что такъ нельзя, это противно и у насъ запрещено, — возражала:

— Вотъ на! Что же вы хотите, чтобы я всѣхъ своихъ гостей растеряла? Чай, мнѣ за мою словесность любители деньги платятъ. *)

— Да, это часто бываетъ, — замѣтила Лусьева. — Но зачѣмъ же вы такую отчаянную уличную къ себѣ пустили?

Катерина Харитоновна усмѣхнулась, покуривая.

— Въ порядкѣ ассоціаціи, душенька, по баллотировкѣ... Добры мы очень. Когда она намъ предложила, всѣ были противъ, — чтобы не пускать эту язву въ домъ. А подали записки, — здравствуйте! только два голоса — минусъ, да двѣ

*) Кузнецовъ, 26, 27.

воздержались... Вотъ оно, какъ умно голосовать умѣемъ!... Ну, а разъ приняли даже такое сокровище, какъ Манька, то за что же было проваливать другихъ, которыя, въ сравненіи съ ней, сама тишина и скромность?

Намъ очень пріятно было привлечь въ ассоціацію Дорочку Козявку, маленькую евреечку, которая, не будучи нисколько красива, почему-то ужасно какъ нравилась солиднымъ гостямъ изъ среднихъ, вродѣ бухгалтеровъ банковъ, биржевыхъ маклеровъ, нотаріусовъ. Но она не шла безъ своей неразрывной пріятельницы Сашы Заячьей Губки. Пришлось взять и Сашу, хотя эта бывшая „филаретка“ была уже почти уродъ, имѣла репутацію интригантки, а гостей къ ней факторши приманивали молвой, что она безотказна на всякое свинство.

Эмилька Сажень, добрая, глупая дѣвка изъ русскихъ нѣмокъ, въ самомъ дѣлѣ чуть не трехъ аршинъ ростомъ и соответственной толщины, прямо заявила намъ, что правила, ограничивающія пьянство, для нея неисполнимы, такъ какъ ея гости, по преимуществу, царскосельское офицерство, посѣщаютъ ее не столько для марьяжныхъ цѣлей, сколько — чтобы любоваться, „какъ Эмилька льетъ въ свою бездонную бочку всякіе жидкіе напитки“.

Идейную сторону ассоціаціи эти госпожи упорно не воспринимали, сколько ни старались имъ втолковать ее Нинишь, Зизи и Анета Блондинка. Но имъ нравилось, что ассоціація отчисляетъ у нихъ всего 10 проц. заработка, тогда, какъ, работая при своднѣ или хозяйкѣ, дай Богъ удержать 10 проц. для самой себя. Нравилось прекрасное рыночное мѣсто, выбранное для „Феникса“ близъ театровъ и сада Неметти. Нравилась почти полная безопасность отъ полиціи подъ крыломъ благодѣтеля Е. „Облагораживающихъ“ же правилъ рѣшительно не понимали, считали ихъ дурацкою фанаберіей въ убытокъ дѣлу и нарушали ихъ ежедневно.

Вообще... глупо прозвучить это о мѣстѣ, предназначенномъ для разврата, но, вмѣстѣ съ новенькими, ворвался къ намъ ужасный развратъ. Именно, тотъ развратъ, отъ котораго мы воображали забронироваться въ условное приличіе: развратъ Невскаго, банъ открытыхъ заведеній.

„Фениксъ“ теперь какъ бы раскололся на-двое. Новенькія семь барышень, Аня Фартовая, Лія, Каролина, Манька, Саша, Дорочка и Эмилька, образовали сплоченую группу, такъ сказать, „реакціонерокъ“. Мы, основныя, имѣли противъ нихъ только одинъ лишній голосъ и, стало быть, при малѣйшемъ среди насъ несогласіи, — а несогласія бывали часто, — онѣ брали верхъ надъ нами съ величайшею легкостью. Да нельзя было не считаться и съ тѣмъ, что новенькія значительно освѣжили гостевую публику „Феникса“ въ опасное время, когда наша, если можно такъ пышно выразиться, кліентура сильно пошатнулась изъ-за нашего хаоса и капризовъ.

Какъ вы знаете, наша профессія не можетъ обходиться безъ посредничества и подспудной рекламы, — безъ ходебщицъ, факторшъ, маклершъ, сводней: онѣ замѣняютъ намъ газетныя объявленія и приманиваютъ публику. Въ началѣ „Феникса“, при Идѣ, а тѣмъ больше при Эстеръ, эти промышленницы очень интересовались нами и хорошо для насъ старались. А теперь отвернулись и махнули рукой:

— У васъ, — говорятъ, — не дѣло, а сумасшедшая палата, съ вами только собственную дѣловую репутацію погубишь и растеряешь хорошихъ кліентовъ.

И, дѣйствительно, Маша, въ самомъ непродолжительномъ времени остались мы, правда, на полной своей волѣ— что хочу, то и дѣлаю, но зато и при гостяхъ почти что парамурнаго десятка. Офицеры, студенты, газетные со-трудники, приказчики... Публика, которая мало, что платить плохо, если вообще платить, но иной, при случаѣ, еще

у тебя же норовить перехватить десятку взаймы безъ отдачи. Одинъ помощникъ присяжнаго повѣреннаго у меня шелковое трико сперъ... только я его и видѣла! Должно быть, законной супругѣ въ день ангела поднесъ, мерзавецъ!..

Любвей со всею этою шантрапою развелось у насъ — туча! Ну, а понимаете, какая ужъ марьяжная коммерція, когда нашей сестрѣ вступаетъ въ сердце любовная мечта? Тутъ только дай Богъ нашатырю не хвататься да выдержать характеръ — не уйти къ любовнику-голоштаннику на взаимную голодовку. Либо не попасть въ лапы „коту“, который потомъ съ тебя вѣкъ будетъ шкуру драть и кровь твою пить...

Такъ вотъ-съ. Живемъ, какъ опалѣлыя, безъ всякаго марьяжа и дохода, только, другъ у дружки нятерки занимаемъ, чтобы покупать своихъ „обже“ галстухи и запонки. Перезаложились всѣ до ниточки. Одна Нюта Ямочка осталась внѣ этой дурацкой эпидеміи. Но на то была особая причина. И именно она то, Нюта Ямочка, все-таки, въ концѣ концовъ, и погубила ассоціацію.

6.

Вы знаете, Маша, что я бабенка не изъ ласковыхъ и не очень то лестнаго мнѣнія о людяхъ вообще, а ужъ о глупомъ стадѣ нашихъ съ вами подругъ по профессіи — въ особенности. Но эта Нюта Ямочка была прелестное существо.

Ямочкой ее прозвали за прелестную ямочку, которая играла у нея на правой щекѣ, когда она улыбалась. Хорошенькій русскій херувимъ, живая розочка, маленькая, круг-

ленькая, изященькая женщина-игрушка. Купеческая дочка изъ-подъ Москвы, завертѣлась изъ дома родительскаго съ актеромъ, а тотъ, какъ водится, поигралъ да и бросилъ. Не изъ образованныхъ, но и не изъ дикароковъ: хватила нѣсколько классовъ гимназій. А главное, имѣла самый очаровательный — мягкій, милый, нѣжный — характеръ и была несравненно привлекательна въ обращеніи. Тогда первую красавицею по Петербургу слыла и дѣйствительно была эта, знаете, великокняжеская Женья Мюнхенова. Конечно по наружности, Нюта передъ Женею была не болѣе, какъ смазливенькая мѣщаночка передъ Венерой Милосской. Но, въ общемъ, такъ мила, что многіе, представьте, предпочитали ее божественной Женѣ.

Притомъ... знаете, когда нашу сестру хвалятъ, что она скромная, стыдливая и т. п., это звучитъ двусмысленно до глупости. Чортъ-ли въ скромности и стыдливости, если самая профессія безстыдна? Ну, а вотъ къ Нютѣ, въ видѣ исключенія, эти аттестаціи удивительно какъ шли. Было въ ея простотѣ что-то этакое... неистребимо, вѣчно цѣломудренное. Я, напримѣръ, увѣрена, что она въ жизнь свою не произнесла ни одного похабнаго слова. А когда вокругъ нея начинались похабные разговоры, она, улучивъ удобную минутку, тихо незамѣтно вставала и уходила, съ какими-бы важными и выгодными гостями ни была. Мужчины съ нами не церемонятся. Въ своей плачевной опытности, я видала неописуемые свинства со стороны даже такихъ мужчинъ, которые въ своемъ обществѣ слывуть и держатъ себя рыцарями челоуѣчности и порядочности. Бываетъ даже такъ, что, чѣмъ онъ въ свѣтѣ лучше, тѣмъ съ „дѣвкою“ хуже. И однако, Маша, увѣряю васъ, я не умѣю вообразить такую двуногую свинью, которая позволила бы себѣ съ Нютою тѣ мерзости и похабства, какихъ эти господа

увѣренно требуютъ отъ другихъ, хотя бы и отъ насъ съ вами.

А между тѣмъ, если хотите, она была проститутка больше, чѣмъ мы обѣ, больше чѣмъ всѣ, которыхъ вы знаете у Буластихи. Потому что мы считаемъ свой проституціонный жребій несправедливымъ проклятіемъ судьбы, злимся, негодуемъ, протестуемъ. Нюта же относилась къ своей профессіи съ покорностью, простодушною до наивности, не прикрываясь ни отъ людей, ни отъ себя никакими масками и псевдонимами. Совершенно искренно говорила:

— Что-же дѣлать, если меня Богъ обидѣлъ? Уродилась дурочкой, кругомъ бездарною, а собою недурна. Работать лѣнива, ничего не умѣю и терпѣть не могу, а жить люблю хорошо. Значить, кромѣ какъ въ проститутки, я ни на что не гожусь.

Дурочкой она не была, напротивъ, рассуждала, обыкновенно, очень неглупо, обнаруживая прочный запасъ мѣщанскаго здраваго смысла, но, дѣйствительно, не обладала даже тѣнью какихъ-либо талантовъ... совершенная тупица! Рукодѣлья — и тѣ ей не давались. Въ карты — куда ужъ до винта, въ стуколку не выучилась.

Замужъ бы ей самое подходящее дѣло, и жениховъ сколько угодно. И влюбленныхъ, и смышленныхъ практиковъ, соображавшихъ, что съ этакой женой въ Питерѣ карьеру сдѣлать — какъ стаканъ вина выпить, даромъ что она изъ „ассоціаціи“. Такъ нѣтъ, ни за что. Говорила:

— За перваго встрѣчнаго или афериста какого-нибудь я не пойду, потому что совсѣмъ не хочу закабалить себя на авось, а ужъ тѣмъ болѣе подозрительному субъекту. Дрянныхъ мужчинъ я и теперь довольно вижу. Бѣднякъ мнѣ не годится, я балованная, а хорошихъ богатыхъ мало. А главное — за хорошаго, даже если бы полюбила, какъ я

пойду послѣ такой моей жизни? Это — себя обманомъ потѣшить, его обманомъ загубить... А обманы — ахъ, какъ недолго держатся! Никогда этого, — что жена была проституткой, — ни мужъ не забудетъ совершенно, если онъ, въ самомъ дѣлѣ, чистый человѣкъ, ни сама жена не выкинетъ изъ памяти-совѣсти... Радость ли, Катя, вѣкъ виноватою жить?.. Сначала-то, въ первомъ пламени, пожалуй, ничего, не помнится, не чувствуется, но, когда страсть поутихнетъ, любовь позавянетъ, вотъ тебѣ, вмѣсто супружества, вѣковѣчное страданіе двухъ жертвъ неповинныхъ...

Что жъ? Была права, разсуждала не глупо. Подобныхъ браковъ, и гражданскихъ, и церковныхъ, перевидала я не одинъ десятокъ, а не помню, чтобы который-нибудь долго продержался и хорошо кончился. И даже такъ скажу, что, чѣмъ оба лучше и честнѣе, тѣмъ скорѣе оба утомятся — не вытерпятъ своей тайной лжи. И либо разойдутся, либо — нашатырь, револьверъ, корсетный шнурокъ однимъ концомъ на шею, другимъ на гвоздикъ... Покорно благодарю!.. Меня, вѣдь, Машенька, тоже спасали, испробовала это счастье... Ха-ха-ха!

7

Катерина Харитоновна швырнула докуренную папироску въ уголь, хотѣла закурить другую, но не нашла ее въ опустошенной коробочкѣ „Гадалки“. Маша, съ кресла, бросила пріятельницѣ свою папиросницу.

— Спасибо... Однако, Маша, при всемъ моемъ скептицизмѣ на этотъ счетъ, должна вамъ признаться, что бываютъ въ этихъ спасательствахъ случаи такого увлекательнаго самообмана, встрѣчаются люди такой пылкой вѣры въ человека, такихъ благородныхъ намѣреній, такъ уважающіе и

себя, и тебя... ну, и, конечно, такъ влюбленно краснорѣчивые, что надо имѣть вотъ этакій рыбій темпераментъ, какъ у Нютки, чтобы не поддаваться соблазну... устоять... За исключеніемъ того перваго любовника, актера, который взялъ ее врасплохъ, съ перепуга, почти что силою, у нея не было потомъ уже ни единого дружка. Слушая и видя наши безчисленные романы, она только плечами пожимала — удивлялась, неужели мужчины намъ еще не отошнѣли!..

Вдобавокъ ко всѣмъ своимъ достоинствамъ, Нюта была еще ужасная домохѣдка. Все свободное отъ гостей время проводила въ томъ, что, лежа на кушеткѣ, читала страшные переводные романы Понсонъ дю Геррайля, Ксавье де Монтепена, Габоріо. Лежить и жуесть конфекты. А горничная Грунька, нынѣшняя Аграфена Панфиловна Веселкина, если не занята по дому, обязательно сидитъ подлѣ, шьетъ, вяжетъ или штопаетъ что-нибудь и съ величайшимъ интересомъ слушаетъ, какъ барышня Нюта воспламеняясь похождениями демоническаго виконта Андрэ или бѣлокурой грѣшницы Баккара, принимается вычитывать вслухъ самыя боевыя страницы...

До нашего „Феникса“ Нюта работала на Марью Алексѣевну. Была, теперь забастовала, такая благопристойная сводня съ маленькою, но самую солидную кліентурою: коммерсанты иностранныхъ фирмъ, министерскіе чиновники на доходныхъ постахъ, вдовое духовенство... публика, которая любить, чтобы о ея похожденияхъ держали крѣпко языкъ за зубами и за тайну хорошо платить. Грунька проживала у Марьи Алексѣевны при кухнѣ, безъ мѣста, при сестрѣ кухаркѣ. Нюта запримѣтила ее, что дѣвушка работающая, расторопная и не глухая, и, переходя въ „Фениксъ“, рекомендовала Груньку намъ. У насъ же Грунька сразу замѣчательно какъ привилась и полюбилась.

Была толковая, вѣжливая, всегда веселая, исполнительная и преуслужливая. Мы ее скорѣе за подружку почитали, чѣмъ за горничную. Тѣмъ болѣе, что сложилось какъ то такъ, что и служила то она, главнымъ образомъ, только Нютѣ Ямочкѣ, которую боготворила и величала „своей барышней“, а остальнымъ — лишь между прочимъ, какъ бы изъ любезности.

Когда начались и потянулись полосы нашего оскудѣнія, Грунька оказалась совѣтъмъ золотымъ человѣкомъ. Находила какихъ то великодушныхъ закладчицъ, которыя давали подѣ вещи вдвое больше, чѣмъ ссудныя кассы. Правда, и при вдвоемъ большемъ процентѣ, да, вѣдь, наша сестра за этимъ не стоитъ, а лишь бы сейчасъ наличность въ руки. Выгодно продавала старыя платья и бѣлье гдѣ-то на Александровскомъ рынкѣ. Наконецъ, и сама она имѣла кое-какія деньжонки и охотно снабжала ими по мелочамъ всѣхъ насъ, кто попросить, безъ всякихъ процентовъ, только съ роспиской для памяти. Если же требовалась сумма побольше, то Грунька бѣгала по городу, изыскивая согласнаго ростовщика или ростовщицу, и обязательно находила. Но тогда уже требовался вексель съ поручительствомъ и проценты взымались жестокіе. Чаше всего кредиторшею оказывалась сестра Груньки, служившая въ кухаркахъ у Марьи Алексѣевны, баба, о которой сама Грунька выражалась, что Дарью чортъ себѣ на смѣхъ выдумалъ: ни къ чему то, кромѣ денегъ, она ни вкуса, ни смысла не имѣетъ и сущая живодерка.

Уплаты долговъ по распискамъ Грунька никогда не требовала: „у васъ, барышня, цѣлѣе будутъ!“ А векселя ея ростовщики и ростовщицы переписывали съ величайшею легкостью, причемъ, однако, задолженіе — ой, какъ выросло!

Дружа съ Грунькою, мы не разъ убѣждали ее, полусутя, полусерьезно, перемѣнить участь: перейти изъ горничныхъ къ намъ въ товарки, включиться въ ассоціацію. Но она упорно отшучивалась, что „рыломъ не вышла“... Между тѣмъ... Да, вы, Маша, видали когда нибудь Аграфену Панфиловну Веселкину?

— Иѣтъ, Катя, не случалось.

— Теперь, къ пятому десятку, ее ужъ очень разнесло; расплылась, расползлась, жирная туша, какъ всѣ наши почетныя хозяйшки, — но, все же еще король-баба. А тогда, если-бы не одинъ смѣшной недостатокъ, была бы дѣвица хоть куда, въ этакое русское хороводное вкусь. Рослая, статная, бѣлая, румяная, быстроглазая, очи съ поволокой, чудесные русые волосы, губы малина, бѣлозубая, грудастая, широкобедрая, спина, какъ плита. Но, подобно какъ Эстеръ, природа тоже обидѣла Груньку носомъ. Только у Эстеръ онъ былъ длинный и свѣтилъ пламенемъ, а Грунька, напротивъ, имѣла на мѣстѣ переносицы гладкое поле, а пониже какую то шарообразную бѣлую пуговицу съ двумя черными дырочками, астрономически устремленными къ небу. Прямо пародія какая то на носъ, свиной пятачокъ, масляничная маска. Эстеръ имѣла, по крайней мѣрѣ, то утѣшеніе, что на фотографіи выходила красавицей, а Груньку и фотографія оставляла карикатурой. Однако, въ отличіе отъ Эстеръ, несчастный носъ Груньку не ожесточилъ, и она первая предобродушно острила надъ своимъ „пытикомъ“.

Ужъ не знаю, „пытикъ“ ли былъ причиною или иное что, почему Грунька засидѣлась въ дѣвкахъ до тридцати лѣтъ. Конечно, дѣвица она была только по паспорту, однако, — Богъ ее вѣдаетъ, что осталось у нея въ прошломъ, но положительно утверждаю, что, обслуживая нашу грѣшную ассоціацію, сама Грунька вела жизнь воздержанную и одна

изъ всей женской прислуги не имѣла ни жениха ни любовника.

Чтобы докончить портретъ этой госпожи, не умолчу еще объ одномъ недостаткѣ Груньки, для меня гораздо болѣе несносномъ, чѣмъ ея комическій нось: у нея, — ужъ извините за подробность — препротивно пахло отъ ногъ, трудно было долго оставаться съ ней близко. Она этотъ недостатокъ свой знала и принимала противъ него всякія аптечныя мѣры, и духами заливалась, но — на чей другой нось, а на мой, напримѣръ, казалось — выходило еще хуже. Мы всѣ удивлялись на Нюту, какъ она выдерживаетъ, что Грунька сидитъ въ ея комнатѣ по цѣлымъ днямъ. Но Нюта увѣряла, что мы преувеличиваемъ и ничего такого особеннаго она отъ Груши (такъ она всегда звала Груньку) не слышитъ.

8

Хорошо-съ. Нюта лежитъ, жуесть сласти и читаетъ своихъ Рокамболей и Генриховъ Четвертыхъ. Груша сидитъ подлѣ и шьетъ. А потомъ Нюта стала держать свою комнату на ключѣ, чтобы къ ней не входили, не постучавшись. А потомъ однажды пожаловалась, что ея комната, окномъ во дворъ, тѣсна и темна, и попросила, чтобы ей уступили другую, большую, двумя окнами на улицу. Когда то, въ медовый мѣсяцъ ассоціаціи, Нинишъ предполагала устроить въ этой комнатѣ бібліотеку и читальню. Но дни розовыхъ мечтаній давно миновали: теперь кромѣ „Петербургскаго Листка“ да „Петербургской Газеты“, кажется, уже и Нинишъ ничего не читала, не говоря о прочихъ.

Когда Нюта перебралась въ читальню, то и Грунька перенесла туда же изъ дѣвичьей свою кровать и пожитки.

А затѣмъ всѣ мы получили, написанный прекраснымъ почеркомъ Нюты, золотообрѣзный билетикъ съ голубками и незабудками, которымъ Аграфена Панфиловна и Анна Николаевна приглашали насъ на шоколадъ по случаю ихъ общаго новоселья.

Въ положеніи Груньки все это приключеніе вызвало лишь ту перемену, что теперь она говорила Нютѣ „ты“, очень ею командовала и порою на нее ласково покрикивала. По отношенію къ намъ она осталась такою же услужливою и исполнительною, какъ была, и сдѣлалась еще тароватѣе на кредитъ. Еще бы! Нюта ввѣрилась ей совершенно, а наша бережливая домосѣдка Ямочка имѣла таки запасныя деньжонки на черный день. Ими то, какъ потомъ выяснилось, и принялась теперь орудовать Грунька.

Мы, безалаберныя расейскія простыни, продолжали хватать у нея десятки, четвертныя и сотенныя, не думая объ отдачѣ. Но еврейки считать умѣютъ. Однажды Дорочка Козавка озадачила меня вопросомъ, знаю ли я, сколько должна Грунькѣ.

— Нѣтъ, не знаю... пожалуй, наберется рублей пять-сотъ...

— Только? — удивилась она, округливъ черненькіе глазки-маслинки. — Гмъ... а мнѣ казалось, не двѣ ли тысячи? Вы бы, Катя, все-таки, поосторожнѣе...

Я обезпokoилась, попросила Груньку выяснитъ мой счетъ. Но получила безпечный отвѣтъ:

— Охъ, барышня, валяются гдѣ то эти бумаженки, я о нихъ и думать забыла. Да что вы вдругъ встревожились? Разбогатѣете, — отдадите. За вами не пропадетъ.

Но, если мы закрывали глаза на свои частныя долги, то не могли не видѣть общей суммы вексельныхъ обязательствъ по ассоціаціи. Они возросли до тридцати тысячъ рублей. Сроки

близились, и, на этотъ разъ, когда поднимался вопросъ о перепиискѣ векселей, Грунька какъ то сомнительно отмалчивалась, загадочно поджимала губы да покачивала головой. Либо жаловалась на неурожайный годъ, что въ Петербургѣ ни у кого нѣтъ денегъ, и никто не хочетъ открывать новыхъ кредитовъ, а всѣ норовятъ получить по старымъ. Нинишь, Зизи и Анета Блондинка, на имя которыхъ писались всѣ долговые документы ассоціаціи, были въ ужасѣ. Касса наша, опустошенная безвозвратными ссудами, была — хоть шаромъ покати.

9

А тутъ вдругъ громъ съ яснаго неба. Въ одинъ прескверный день, Нинишь вызываетъ къ себѣ нашъ пріятель, полицеймейстеръ Е., и объявляетъ ей уже безъ малѣйшей любезности:

— Ну-съ, милѣйшая соціалистка, „конченъ базаръ“! Побаловались, — и баста! Больше мы терпѣть вашу, съ позволенія сказать, ассоціацію не можемъ. Довѣдались о васъ такія сферы, съ коими шутить плохо. Даю вамъ на ликвидацію недѣлю срока. Не успѣете, прошу не противѣваться: всѣхъ на бланку! Либо, на выборъ, вонъ изъ столицы по мѣсту родины.

Никакихъ просьбъ, доказательствъ, объясненій и слушать не сталь.

— Нѣтъ, — говоритъ, — слухъ дошелъ до августѣйшихъ ушей ея величества государыни императрицы, и она ужасно возмущена, что въ столицѣ такая безнравственность. Благодарите Бога и за то, что я выпросилъ для васъ у генерала недѣльный срокъ. Онъ хотѣлъ выслать въ двадцать четыре часа.

Бросились мы къ антрепренершѣ. Говорить:

— Да, слышала, есть. Мой генераль рветъ и мечетъ. На счетъ императрицы не знаю, а у Ольденбургскихъ ему, дѣй-

ствительно, кто-то сдѣлалъ непріятный намекъ. Да на это наплевать! Кладите пятьдесятъ тысячъ на столъ, — улажу.

Спасибо! Въ тотъ день, хоть всѣхъ насъ на изнанку выверни, мы и пятисотъ рублей не набрали-бы.

Устроили общее собраніе. И Груньку пригласили: совѣщательный голосъ! За предсѣдательницу была Марья Францевна, а я секретарь. Доложила Нинишь необходимость сѣйшней ликвидаціи. Новенькія приняли равнодушно. Насъ, основныхъ, словно громомъ пришибло.

Странное, право, дѣло, Машенька! Никакой пользы-выгоды мы отъ своей ассоціаціи не видали, а, какъ пришлось намъ ее прикрывать, стала намъ она, вдругъ, такъ мила, такъ мила, — такъ ея жаль, — ну, прямо навзрыдъ плачемъ, слезами обливаемся... Прощай, наша свободушка! Попировали сами себѣ господами, и будетъ!

Но, вдругъ, Грунька поднимаетъ голосъ:

— Позвольте, барышни. Не рано ли заплакали? По моему, все это еще очень можно уладить. И никакихъ пятидесяти тысячъ. Безъ грошика.

Мы встрепенулись.

— Что ты говоришь, Груня? какъ?

А Нюта, съ мѣста, мямлитъ, тянетъ своимъ соннымъ голоскомъ:

— Да, Груша имѣетъ очень остроумный планъ, который и я одобряю... Говори, Груша.

— Что же, — говоритъ Груша, — вы такъ оробѣли, хотя бы и бланка, которою пугаетъ васъ этотъ старый несъ полицеймейстеръ? Книжка ли, бланка ли, страшны, когда вы одиночкою марьяжите, либо должны обязаться къ случайной хозяйкѣ, въ незнакомое заведеніе. Но ежели вы не разойдетесь и сохраните свое сожителство въ неприкосновенности, то на всю ихнюю полицейскую реестрацію — наплевать вамъ съ высокаго

дуба, да и весь сказъ... Въ открытую то играть, пожалуй, еще спокойнѣе.

Возражаемъ:

— Но вѣдь намъ же велятъ именно „Фениксъ“ закрыть, ассоціацію уничтожить и разойтись?

— А на кой лядъ вамъ дразнить начальство вашей ассоціаціей? Вы другъ дружкѣ вѣрите?

— Вѣримъ.

— Всѣ?

— Всѣ.

— Такъ выбирайте промежду себя — которой довѣряете больше всѣхъ, да чтобы была посолднѣе... Марью Францевну... Иду Карловну.. И пусть она выправить на свое имя патентъ на самое обыкновенное заведеніе перваго разряда. А вы, остальные, поступите къ ней въ домъ дѣвицами, законтрактовавшись на общемъ положеніи. Тогда съ наружи къ вамъ не можетъ быть никакой прицѣпки, а какъ вы устроитесь у себя внутри, это ужъ ваше дѣло. Разъ есть на лицо хозяйка съ торговыми правами, то все въ порядкѣ. А какая тамъ у васъ въ изнанкѣ подъ спудомъ ассоціація, чужому носу и глазу, хотя бы и полицейскому, туда не досунуться... Только бы согласно стояли всѣ другъ за дружку, — вотремъ очки въ лучшемъ видѣ!

Дѣйствительно, ларчикъ просто отпирался! Обрадовались мы, словно Америку открыли. И кинулись въ яму, словно овцы за передовымъ козломъ.

Нинишка полетѣла депутаткою къ Е. Выслушалъ съ совершенной благосклонностью.

— Давно бы такъ!

Однако, предупредилъ, что ни одна изъ насъ разрѣшенія не получить, нужно постороннее лицо. А также — что „Фениксъ“ долженъ быть перенесенъ съ Офицерской въ окраин-

ный переулочек его же, Е., района, где, вообще, ютятся подобные дома.

Опять тупик! Шутка ли доверить свою свободу какому то „постороннему лицу“ — чужой, каким-то прошлым с тобою не связанной, женщиной? Легкое ли дело в недлю перевести и водворить на новое место дом — пятнадцать жилищек-барышень да прислуги восемь душ, имущества на многие тысячи?..

Но все-таки, больше всего смущало „постороннее лицо“. Кого-кого только ни перебрали мы в памяти из женщин, связанных с нашим промыслом, но в нем не числящихся. И Марью Алексеевну просить собирались, и даже зашла было речь об изгнанной Эстер...

Но тут попросила слова Нюта Ямочка и внесла предложение, что „посторонним лицом“ может и должна быть не кто иная, как... ея Груша!

— Мы все ее знаем и любим, она всех нас знает и любит; с „Фениксом“ она свылась, ассоциация дорога ей столько же, сколько и нам. Не доверять ей мы не имеем никакого основания: девушка простая, безхитрая и прекрасного характера. А она свое доверие и расположение достаточно доказывает уже тем, что почти все мы ей должны большие деньги, а она терпит, не требует, хотя видит нас в трудных обстоятельствах и, значит, очень мало надежными плательщиками.

— А сверх того, — заключила Нюта, — за себя лично я должна откровенно предупредить, что, кроме Груши, я ни под чью другую руку не пойду, и, если Груша не примет хозяйства, то считайте меня вышедшей.

Это уже было маленькое давление на общественный приговор. Все понимали, что без Нюты нам нельзя: наша примадонна, дива, слава!.. Последовавшие дебаты излагать излиш-

не. Предложеніе Нюты восторжествовало десятью голосами противъ пяти. Новенькія всѣ голосовали за Груньку. Изъ основныхъ, конечно, Нюта Ямочка да обѣ „старухи“ — Марья Францевна и Ида Карловна. Наше пятерка, — я, Берта Жидовка, Зизи, Нинишъ и Анета Блондинка, — осталась въ обидномъ меньшинствѣ.

Грунька ломалась, кривлялась, отпѣкивалась, отмахивалась.

— Да что вы вздумали? Да смѣю ли я? Да какъ я могу? Что ты, Нютка, полоумная, въ какую бѣду меня тянешь? Нашли управительницу! Что я вамъ, барышни, на смѣхъ далась? Какая я хозяйка? И грамотѣ то знаю самоучкою, съ грѣхомъ пополамъ. Да вы, образованныя, мнѣ голову свернете, я отъ однѣхъ вашихъ насмѣшекъ стыдомъ пропаду...

Но, покуда она причитала, а мы перекорялись, вдругъ, дзиннь! звонокъ, и повѣстка отъ нотариуса Аннѣ Михайловнѣ Р: поступилъ, молъ, ко мнѣ вашъ неоплаченный вексель на восемь тысячъ рублей и, если завтра до двѣнадцати часовъ не будетъ внесена валюта, то документъ будетъ опротестованъ...

Нинишка покатила въ истерикѣ, а мы, юристки великія, перепуганныя до полусмерти, словно этотъ нотариусъ грозилъ съ насъ головы поснять, наѣли на Груньку, что называется, вплотную и теперь уже единогласно:

— Ты, Грунечка, одна можешь спасти насъ... выручай!

Тогда она, будто-бы нехотя, согласилась. И тутъ же, на скорую руку, было составлено обязательство, которое намъ, сгоряча и въ волненіи страстей, показалось очень легкимъ, а, на самомъ-то дѣлѣ, закабаляло насъ Грунькѣ въ крѣпкую зависимость.

Грунька брала на себя уплату всѣхъ долговъ нашей ассоціаціи, а также всѣ расходы по устройству „Феникса“ въ новомъ помѣщеніи, какъ скоро оно найдется. За это мы, кромѣ

себя самихъ, передавали ей въ собственность всю обстановку нашего „Феникса“ до послѣдней ложки и плошки, что она великодушно принимала въ трети общаго задолжанія. Остальныя двѣ трети раскладывались на пятнадцать частей, по числу барышень ассоціаціи, сообразно времени, сколько каждая въ ней работала, съ погашеніемъ половиною будущихъ заработковъ въ новомъ „Фениксѣ“. Каждая должна была затѣмъ, когда Грунька получить разрѣшеніе отъ полиціи, заключить съ нею отдѣльное личное обязательство, со включеніемъ въ него уже и своего частнаго ей долга по распискамъ. Если же которая-нибудь не захочетъ заключить такого обязательства и пожелаетъ выйти изъ ассоціаціи, то должна заплатить сразу все, сколько за нею числится. Выходило какъ будто немного, особенно для недавнихъ новенькихъ, которыя поэтому первыя, вслѣдъ за Ньютой, и подписали обязательство. На мою долю упало 1875 рублей, что, вмѣстѣ съ моимъ частнымъ долгомъ Грунькѣ, составило кругленькую сумму до 4000 рублей.

Дѣло въ рукахъ Груньки закипѣло со сказочной быстротой. Разрѣшеніе она получила такъ легко, что и слѣпой разглядѣлъ бы тутъ фортель, давно уже условленный съ хорошо подкупленной полиціей. Возможно, что разрѣшеніе уже лежало у нея въ карманѣ, когда она съ нами торговалась.

Еще прозрачѣе вышло съ помѣщеніемъ. Едва наше обязательство улеглось въ Грунькиной шкатулкѣ, какъ желанный домъ отыскался, словно по щучьему велѣнію, и Грунька немедленно, на другой же день, начала перевозить туда нашу мебель. Нинишь, Берта Жидовка и Дорочка Козявка отправились заглянуть на будущую нашу берлогу и возвратились очень изумленные, такъ какъ нашли совершенно заново отдѣланный, съ трактирнымъ шикомъ, особнякъ, въ которомъ еще недавно помѣщался одинъ изъ самыхъ бойкихъ публичныхъ домовъ Петербурга, закрытый за смертію владѣлицы. Такимъ образомъ,

мы перебирались на „наѣзженное мѣсто“, что, конечно, не могло быть случайностью и обдѣлано было не на спѣхъ, въ роковую недѣлю нашего разгрома, а, по крайней мѣрѣ, за два, за три мѣсяца раньше, какъ показывалъ солидный и спеціально на „заведение“ рассчитанный ремонтъ.

Непостижимо было, откуда Грунька, въ концѣ же концовъ, только горничная въ веселомъ домѣ, доставала средства на подготовку и осуществленіе своего, очевидно, давно задуманнаго и исподволь, втихомолку обработаннаго, захвата. Это выяснилось только въ далекомъ послѣдствіи, когда открылось, что за спиной нашей нищей и легкомысленной ассоціаціи незримо выросла и таилась другая „ассоціація“, состоятельная и хищная, въ которой Грунькинъ жульническій геній нашелъ и кредитъ широчайшій, и властную поддержку. Когда „Фениксъ“ превратился въ шикарное „заведение“, пайщиками въ немъ оказались и сводня Марья Алексѣвна, и Грунькина сестра-кухарка, и Эстеръ Лаусъ, и какой-то мѣняла съ Невскаго, и покровительствуемая Грассеромъ антрепренерша, и нѣсколько крупныхъ полицейскихъ чиновъ.

Не рѣшусь утверждать, чтобы между ними былъ Е., но — что онъ оказался со всею Грунькиной компаніей въ тѣснѣйшей дружбѣ, состоялъ у нея на жалованьи и помогъ ей насъ обработать, въ томъ нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія. Самъ же потомъ въ глаза Нинишкѣ смѣялся надъ тѣмъ, какъ напугалъ насъ императрицей:

— Дуры! неужели ни у одной изъ васъ не хватило мозговъ сообразить, что, если-бы не то, что императрица, а самая послѣдняя ея камеръ-юнгфера моргнула мнѣ на васъ глазомъ, то я бы въ ту же самую минуту васъ законопатилъ въ такіе тартарары, гдѣ вы и свѣта бѣлаго не увидѣли бы больше — такъ бы и передохли впотьмахъ?!

И, наконецъ, къ числу безсознательныхъ соучастницъ надо

отнести и нашу милѣйшую Нюту Ямочку, которой капиталъцемъ Грунька распоряжалась, какъ своимъ собственнымъ, пока вовсе его не зацапала.

Что говорить, умная пройдоха! Удивленія достойно, какъ полуграмотная дѣвка обвела вокругъ своего пальца и заставила плясать по своей дудкѣ столько разнообразѣйшихъ людей и все такихъ, которымъ тоже пальца въ ротъ не клади. Всѣхъ заставила на нее работать и всѣхъ, въ концѣ концовъ, обставила и, обставивъ, выставила. Ужъ на что шельма была антрепренерша, однако, прогорѣла въ какихъ то аферахъ и умерла, разоренная, въ очень тугихъ обстоятельствахъ. А Аграфена Панфиловна Веселкина въ миллионѣ и никакихъ пайщиковъ у нея въ дѣлѣ давнымъ давно нѣтъ. Всѣхъ слопала, даже полицейскихъ. Е. она мало по малу такъ запутала, какими то такими документами на него раздобылась, что старикъ, подъ конецъ жизни, боялся ея больше, чѣмъ самаго грознаго начальства. Пикнуть не смѣлъ противъ Аграфены, хоть она тамъ у себя въ „Фениксѣ“ съ живого человѣка кожу сдери.

Общее наше обязательство формально недорого стоило, а книжки еще не были взяты и личныя обязательства, за исключеніемъ Нюты Ямочки, нѣмки Каролины да долговязой Эмильки Сажени, еще не подписаны. Многія призадумались предъ послѣднимъ рѣшительнымъ шагомъ.

Въ томъ числѣ и я, неожиданно оказавшись заодно съ моимъ врагомъ, этой уличной безобразницей, Манькой Змѣенышемъ. Она теперь громко вопила, что подала за Груньку голосъ впопыхахъ, не разобравъ дѣла, „какъ дура отолтѣлая“, но скорѣе пойдетъ плясать по Сѣнной съ полтинничными и ночевать въ Вяземской Лаврѣ, чѣмъ дастъ себя оскѣдлатъ „безносой горняшкѣ“. Третьею присоединилась къ намъ еврейка Лія. Заколебались и наши „старухи“, Марья Францевна съ Идой Карловной.

Правду сказать, за исключеніемъ меня, которая считалась въ ассоціаціи козыремъ, Грунька несогласными не очень дорожила. А отъ Марьи Францевны съ Идой Карловной была прямо-таки рада отдѣлаться: особы заслуженныя, но насмѣшники изъ гостей увѣряли, будто Ида та самая еврейка, для которой Пушкинъ сочинилъ „Гаврилиаду“, а Марья Францевна помнить, какъ на Сенатской площади бунтовали декабристы. Обѣ и сами понимали, что имъ пора на покой. Къ тому же и сбереженія маленькія имѣли, такъ что работали больше по привычкѣ, жалѣя признать свою разлуку съ молодостью. Грунька разошлась съ ними какъ-то очень ловко — вѣжливо и по чести, благо лично ей онѣ ничего не были должны, а долгъ по ассоціаціи она имъ великодушно простила.

Въ переходные дни, Грунька, хотя и нареченная хозяйка, была попрежнему мила, любезна и разыгрывала смиренницу. Даже костюма не перемѣнила: продолжала ходить горничной въ передникахъ, величала насъ барышнями и конфузилась, что мы начали говорить ей „вы“. Но я уже раскусила эту птаху.

А тутъ еще какъ разъ повстрѣчалась въ Гостиномъ дворѣ съ Перхунихой, хозяйкой дома свиданій на Большой Морской, и она мнѣ поразсказала много о закулисныхъ Грунькиныхъ махинаціяхъ, которыхъ только мы, слѣпыя, вблизи не замѣчали, а конкурентки издали давно ихъ видѣли и предсказывали результатъ. Стала Перхуниха сманивать меня къ себѣ. Разъ, два, три, и покончили. Она платитъ за меня долгъ и даетъ тысячу рублей на разживу, а я закабаляюсь къ ней на работу экстерной срокомъ на три года, если раньше сама не выгонитъ. Грунька никакъ этого не ожидала, очень ее передернуло, когда я выложила передъ нею четыре тысячи, однако, разстались мы любезно и дружелюбно. Собственно говоря, глупость я сдѣлала, слѣдовало бы поторговаться. Манька Змѣенышъ и Лія отдѣлались много дешевле. Въ Перхунихѣ я, по пословицѣ,

промѣняла кукушку на ястреба, но все-таки, была довольна, что поставила на своемъ, не обрядилась въ Грунькину узду, какъ прочія десять...

Господи! ужъ и платили онѣ, платили Грунькѣ этотъ свой долгъ дурацкій — по ассоціаціи то и новому устройству! Я думаю, каждая разъ десять его выплатила, прежде чѣмъ ее либо смерть взяла, либо Грунька выкинула за дверь, какъ старую, изношенную тряпку... Теперь въ „Фениксѣ“ перваго состава уже никого не осталось, кромѣ Нинишки, да и та уже лѣтъ пять, какъ не въ барышняхъ, а въ экономкахъ.

И вотъ подите же, Машенька, какъ мѣняются характеры. Барышнею Нинишъ была бунтовщица, кипѣла протестомъ, мы ее социалисткой почитали, да и сама она воображала себя таковой. А экономкой оказалась прелютая: за всякую мелочь — штрафъ, штрафъ и штрафъ, и плетки не жалѣетъ, и по щекамъ лупить. Хозяйкина правая рука, Веселкина ею не нахвалится...

— А Нюта Ямочка?

— Съ Нютою Грунька, не стану хаять, вела себя, насколько была способна, коректно и очень постоянно. Ограбить ее, конечно, ограбила, но лѣтъ семь тянули канитель, не разставались. И все время Грунька ее, какъ фарфоровую, въ ватѣ держала, на самой легкой работѣ, для отборныхъ гостей. Но года три или четыре тому назадъ, Нюта, въ гололедицу, остушилась на тротуарѣ и сломала себѣ ногу, да такъ неудачно, что пришлось ампутировать. Теперь ковыляетъ калѣкою, гдѣ-то за городомъ. Говорятъ, будто ударилась въ божественное, живетъ съ какимъ-то заштатнымъ попомъ, и оба они сочинили какую-то секту. Веселкина платитъ ей маленькую пенсію. Жаль Нютку. Хотя и не мало зла она намъ сдѣлала своей слѣпой довѣрчивостью къ Грунькѣ, но, въ сущности, была премилая женщина...

— Ну, а на новомъ то мѣстѣ, Катя, что же — такъ сразу и рухнула ассоціація?

Катерина Харитоновна окружилась облакомъ дыма, изъ глубины котораго трескомъ раскатился саркастическій хохотъ.

— Ассоціація-то? О, нѣтъ, не сразу. Правда, при переездѣ въ новый „Фениксъ“, барышни стараго „Феникса“ были очень изумлены, когда Грунька неожиданно представила имъ четырехъ незнакомыхъ дѣвицъ, объясняя, что, такъ какъ, молъ, изъ нашего состава выбыло пять барышень, то, вотъ, она пополнила, взяла этихъ...

— Позвольте, однако, Груня, какъ же вы могли это сдѣлать, не обсудивши съ нами? Вы права не имѣли...

Удивилась:

— Развѣ? Ахъ, я окаянная! Ну, впередъ не буду, а на этотъ разъ ужъ простите меня, дуру непокрытую, примите ихъ въ свою компанію. Дѣвушки бѣдныя, пріѣзжія, куда имъ дѣваться? Вонъ, изъ четырехъ только одна и по-русски то тямать... Да и я, признаться, маленько оплошала съ ними: много аванцу дала... Не пропадать же деньгамъ, пуцай отработываютъ.

Одна изъ Грунькиныхъ дѣвицъ — съ языкомъ — была балтійская нѣмка, рижанка; остальные три, безсловесныя, — шведка, финка и... негритянка, черная, какъ уголь, и съ зубами, какъ клавиши фортепіано!.. Эту прелесть она вышишала, тоже черезъ одного рижскаго поставщика, изъ Гамбурга.

Ну, что же, въ самомъ дѣлѣ? *Fait accompli!* Не гнать же, въ самомъ дѣлѣ, несчастныхъ на улицу!.. Пожали плечами, поворчали, что такъ нельзя, и примирились...

Однако, покуда шло устройство, облаживались формально-

сти, получались книжки, составлялись и подписывались контракты, Грунька все еще была ангелъ. Упорно изображала изъ себя приказчицу на отчетѣ, отмахивалась отъ словъ „хозяйка“ и „мадамъ“, откликалась барышнямъ на „Груню“ и всячески лебезила, стараясь показать, что она помнитъ въ себѣ вчерашнюю горничную и знаетъ свое мѣсто. Только прислугу муштровала зычно и сурово, что, впрочемъ, барышни очень одобряли. Потому что распущенную прислугу стараго „Феникса“ Грунька уволила, а новая, набранная ею, показалась барышнямъ страшноватою. Мужчины — вышибальнаго типа, каждый, того гляди, въ семи душахъ повинится. Горничныя — любую въ тюремныя надзирательницы, либо сидѣлку въ домъ умалишенныхъ на бѣшеное отдѣленіе...

Когда Нинишь и Зизи сдѣлали Грунькѣ замѣчаніе, что ея люди ужъ очень звѣровидны, она отговорила, что иначе въ этомъ переулкѣ нельзя: сосѣдство опасное, кругомъ публичные дома, могутъ быть скандалы отъ шляющихся гостей-шематоновъ, да и прямые нападенія со стороны вышибаль конкуррирующихъ заведеній и хулигановъ, „котовъ“ тамошнихъ дѣвицъ.

— А теперь пусть-ка сунутся на моихъ верзилъ. Инъ какіе черти. Тумбы изъ мостовой выворачиваютъ, ремни, словно гнилыя нитки, рвутъ.

Однако, и сама отъ нихъ пришла, наконецъ, въ ужасъ и однажды объявляетъ:

— Какъ хотите, барышни, а одной мнѣ съ этимъ архаровскимъ народомъ не справиться. У меня на нихъ все время уходить, некогда за домомъ присмотрѣть. Вы опять будете меня попрекать, что я своевольничаю, а, всетаки, извините, я взяла — хотите назовите помощницу, хотите — экономку... Не бойтесь, не чужая, старая знакомая, — прошу любить да жаловать...

И вводить — кого бы вы думали? Красноносую Эстеръ!.. А за нею по пятамъ, робко выступая, потупивъ головку, плетется неизмѣнная и неразлучная Дунечка Макарова, со своимъ драгоценнымъ дневничкомъ въ кожаной сумочкѣ.

Барышни онѣмѣли, переглядываются, не знаютъ, что сказать, какъ начать. А Грунька поетъ:

— Вотъ какъ, право, хорошо! Теперь мы совсѣмъ по старому, въ нашемъ любезномъ канцлехтѣ!

И опять, конечно, какъ всегда, Нютка предала. Моргнула ей Грунька, — она встала съ мѣста и пошла навстрѣчу.

— Здравствуй, Дунечка! Здравствуйте, Эстеръ Александровна! сердечно рада васъ видѣть...

Понимаете? Сразу тонъ дала: подружкѣ-барышнѣ „ты“, экономкѣ, какъ начальницѣ, „вы“... И расцѣловалась... За нею, понятно, всѣ потянулись овцы овцами... Ни одна словечка не возразила...

Наконецъ, все было оформлено, закрѣплено, то есть правильнѣе сказать будетъ, закрѣпощено. До того времени новый „Фениесъ“ торговалъ мало, исподволь, подъ сурдинку. Теперь Грунька предложила устроить торжественное открытіе съ баломъ, оркестромъ, гостями по приглашенію. Барышнямъ затѣя очень понравилась. Но вотъ тутъ то и разыгрался знаменитый Грунькинъ скандалъ съ Бертой Жидовкой. Штучка, которая запомнилась на десять лѣтъ!

Берта, — еврейка, какъ вы слышите изъ прозвища, — была изъ хорошей одесской семьи, а погибла въ довольно обыкновенномъ для евреекъ порядкѣ: выдали ее по шестнадцатому году замужъ за проѣзжаго фрайера, который слылъ спичечнымъ фабрикантомъ, а на дѣлѣ вышелъ самозванцемъ, жуликомъ, агентомъ по живому товару. Прелестный супругъ увезъ БERTУ въ свадебное путешествіе и въ Константинополь продалъ ее въ публичный домъ.

Къ счастью, на первой же недѣлѣ ея тамъ пребыванія среди гостей оказались русскіе моряки, выкупили бѣдняжку изъ неволи. Одинъ влюбился, взялъ Берту на содержаніе. Когда его лодка ушла, Берта перешла къ атташе какого то иностраннаго посольства. Этотъ вскорѣ получилъ назначеніе въ Петербургъ и Берту перевезъ съ собою. Какъ еврейка, Берта проживать въ столицѣ не могла. Но, воображая, что ея дипломатъ рано или поздно на ней женится, она, въ этомъ разсчетѣ, сдѣлала величайшую для еврейки глупость, — vykрестилась. Право жительство пріобрѣла, родную семью потеряла.

Изъ Одессы ей приказали позабыть, что у нея были отецъ, мать, братья и сестры. Позабыла. Съ дипломатомъ же у нея пошли нелады, и, когда его перевели еще куда то, чуть ли не въ Ріо Жанейро, онъ Берту съ собою не взялъ, и любовники разстались безъ всякаго удовольствія. Берта осталась на бобахъ, поселилась въ мебелированныхъ и начала работать на маленькій полуфранцузскій домъ свиданій въ Эртелевомъ переулкѣ. Здѣсь она познакомилась съ Нинишъ Брюнеткой и съ Толстой Зизи и, когда онѣ затѣяли „Фениксъ“, вошла въ ассоціацію одною изъ первыхъ.

Берта была настоящая библейская красавица, но характерецъ — ой-ой-ой! Гордячка ужасная и вспыльчивая, какъ порохъ, а въ горячности себя не помнитъ. Вотъ, въ вечеръ открытія, одѣвая Берту къ балу, одна изъ этихъ тюремныхъ мордь, которыхъ Грунька набрала въ горничныя, что то ужъ очень грубо сневѣжничала. А Берта, вспыхнувъ, съ сердцовъ, возьми да и ткни ее булавкой въ грудь. Дѣвка завопила, что пойдетъ жаловаться хозяйкѣ. А Берта закусилла удила — хочеть:

— Это Грунькѣ то? Напугала! Ужасно какъ страшна мнѣ твоя безносае Грунька! Плевать я хотѣла на Груньку!

И, вдругъ, передъ нею вырастаетъ, какъ изъ-подъ земли,

сама Грунька. Но уже не горничною въ передничкѣ, а въ полномъ хозяйскомъ парадѣ и величіи: зеленое бархатное платье декольте и съ треномъ, на головѣ токъ, въ ушахъ брильянты, на шеѣ жемчужное кольцо, между грудями фермуаръ болтается, руки чуть не до локтя въ браслетахъ: живая выставка нашихъ заложенныхъ и просроченныхъ вещей! А за нею Эстеръ и другая тюремная морда-горничная. И, не успѣла Берта опомниться, какъ Грунька, со всего размаха, хватъ ее по щекамъ. Берта — съ ногъ долой. А Грунька приказываетъ:

— Взять эту тварь, раздѣть до рубахи и посадить до утра въ темный чуланъ.

Берта вскочила было, и сама на нее съ кулаками:

— Грунька! да ты что? пьяна или сбѣсилась?

А та опять ее—рразъ!

— Это, — говорить, — тебѣ затѣмъ, чтобы ты запомнила разъ навсегда, что никакихъ Грунекъ тутъ нѣтъ, а есть твоя хозяйка Аграфена Панфиловна мадамъ Веселкина, которая вольна тебя заставить ей ноги мыть и эту воду пить. А за то, что ты смѣла въ моемъ домѣ буянить и мою прислугу изувѣчила, получишь еще и еще... Дайте ка ей, дѣвушки, хорошаго раза!

И избили тутъ горничныя Берту до того, что она чувства потеряла и въ обморокъ впала. А Грунька съ Эстеръ стояли и смотрѣли. А потомъ Берту раздѣли, отнесли въ чуланъ и заперли. Въ чуланѣ, впрочемъ, пробыла она недолго. Нюта Ямочка узнала — расплакалась, стала передъ Грунькою на колѣни, руки цѣловала, умолила выпустить. И во время, потому что Берта уже рубаху на себѣ разорвала и полоски въ веревку вила, чтобы удавиться.

Конечно, барышни пришли въ волненіе, возмутились, — бунтовать! бунтовать! Но время было уже позднее, пришелъ оркестръ, начали съѣзжаться гости, заработали спальни и бу-

фетъ. Не портить же было открытія забастовкою или общимъ скандаломъ. Отложили объясненіе съ хозяйкой на завтра, а куда только — бойкотъ молчанія. Работать исправно, будто ни въ чемъ не бывало, но ни съ Грунькою, ни съ Эстеръ — ни одного слова иначе, какъ по дѣлу, — чтобы чувствовали надвигающуюся грозу. Но тѣмъ, само собою разумѣется, бойкотъ ихъ — какъ съ гуся вода.

Да и не выдержали. Нютка наотрѣзъ отказалась:

— Чтобы я съ Грушей поссорилась? Да ни за какіе миллионы!

Дунечка Макарова, при одной мысли прогнѣвать Эстеръ, позеленѣла и затряслась, какъ осиновый листъ. Финка, шведка и негритянка, ничего не понимая, только глазами ворочали. А рижская нѣмка находила, что барышни напрасно волнуются, не случилось ничего особеннаго: хозяйка въ своемъ правѣ, — я, дескать, въ третьемъ заведеніи живу... такъ-ли еще быть! Аня Фартовая и Эмилька Сажень, двѣ дылды, какъ столбы верстовые, общались и — струсили. А Саша Заячья Губка и Дорочка Козявка, кажется, и пошептались немножко въ задней комнаткѣ, если не съ самой Аграфеной Панфиловной, то съ Эстеръ Александровной, понаушничали малую толику...

Открытые удалось на славу, а ужинъ барышнямъ Грунька закатила такой благодатный, съ устрицами, съ шампанскимъ, что очень значительная доля ихъ негодованія потонула въ бокалахъ и въ стерляжьей ухѣ.

11.

На завтра, однако, попробовали, какъ Нинишь настаивала, „разобраться въ инцидентѣ и отстоять поруганные права“.

Сперва налетѣли на Эстеръ. Но та только пожимаетъ плечами да дѣлаетъ изумленные глаза:

— Позвольте, барышни, я то при чемъ? Хозяйка я здѣсь, что-ли? Я женщина служащая. Что мнѣ Аграфена Панфиловна велить, то я обязана исполнить, потому что получаю отъ нея жалованье и проценты. Велѣла посадить Берту въ чуланъ, — я посадила. Велѣла выпустить, — я выпустила. И всегда такъ будетъ. А вамъ я рѣшительно никакимъ отчетомъ не обязана. Говорите съ хозяйкой.

Окружили хозяйку.

— Что это вы себѣ позволили съ Бертой? Мы не позволимъ, это тиранство! такъ нельзя!

А Грунька оглядѣла ихъ королевой и говорить:

— А какое вамъ дѣло до Берты? Берта моя дѣвушка, она мнѣ обязанная, я ей хозяйка. Стало быть, и наши съ нею счета — между нами двоими, а третьяго игрока подъ столъ. Вы вотъ суетесь въ воду, не спросясь броду, а не знаете того, что Берта-то умнѣ васъ. Она у меня прощенія просила, и мы съ нею помирились, и я ей хорошій подарокъ сдѣлала. Глядите-ка лучше каждая за собою, чтобы не шкодить и не вводить меня въ сердце. Сейчасъ я съ вами обращаюсь по всей деликатности, какъ съ барышнями, а вздумаете шебаршить и лѣзть, куда не спрашиваютъ, узнаете, какъ трахтуютъ дѣвокъ. Вы всѣ мнѣ обязанныя, а кто попробуетъ меня не слушать и заводить въ моемъ дому беспорядокъ, получить хуже Берты. А ежели вы еще разъ позволите себѣ этакъ напирать на меня скопомъ, то на кухнѣ у меня сидитъ сыщикъ отъ полиціи, а на улицѣ передъ домомъ ходитъ городовая. Позвоню по телефону въ участокъ, что вы не повинуетесь хозяйкѣ и республику заводите, — тогда учить васъ будетъ уже не моя прислуга, а придутъ городовые съ резиною... Поняли? Ну и маршъ по своимъ комнатамъ и чтобы больше никакихъ разговоровъ! Я

знаю, что дѣлаю, попусту никого не обижу, а за вину, — ужъ не взыщите, — спуска не дамъ. Ежели чѣмъ недовольны, харчами-ли, одежою, обувью, прислугою, другъ съ дружкой-ли нелады, жалуйтесь Эстеръ Александровнѣ: она на то и поставлена, чтобы держать домъ въ порядкѣ. Но сходовъ и сговоровъ — ни-ни-ни! Въ особенности, ты, Нинишка, смотри у меня! Книжекъ начиталась, со студентами языкъ наострила, социалистку изъ себя кривляешь, — берегись! А ты, Нютка, плакса, тоже не изволь приставать ко мнѣ заступницей... Адвокатъ какой выискался! Самой ушенки оборву!

12.

— Вотъ дьяволъ! вырвалось у Марьи Ивановны.

Катерина Харитоновна, въ дымномъ облакѣ, пожала плечами.

— Да, не ангель... Хотя все относительно въ подлунномъ мірѣ... Напримѣръ, въ сравненіи съ нашей Буластикой...

Марья Ивановна, содрогающимся движеніемъ ужаса и отвращенія, прикрыла глаза пальцами обѣихъ рукъ.

— Ну, ужъ объ этой что же... Буластика не женщина, а гіена на заднихъ лапахъ...

— Правильно сказано. А вотъ—смотрите—разница. Буластика гіенствуетъ изо дня въ день, изъ часа въ часъ, годы и годы, но въ дѣлѣ у нея нѣтъ ни порядка, ни дисциплины. Есть только хаосъ паническаго страха предъ взбалмошной бабой, способной ни съ того, ни съ сего вызвѣриться, какъ бѣшеная собака. Посмотрѣли бы вы, какая поголовная шкода начинается у васъ въ корпусѣ, когда въ отлучкѣ строгій Оедосьинъ глазъ! Къ плюхамъ-то притерпѣлись, а глупое тиранство дразнить — лестная забава. Рискъ — благородное

дѣло: конечно, если попадусь, то ты, вѣдьма, съ меня шкуру сдерешь, но попадусь ли, нѣтъ ли, это бабушка надвое говорила, а ужь штучку то тебѣ на зло я отмочу, голубушка, отмочу!.. Вотъ, я вамъ рассказывала, какъ довела Буластиху до того, что она меня мало-мало утюгомъ не убила, — и ничего... При Ѳедосѣ я такъ не посмѣла бы, да и не захотѣла бы... И съ Веселкиной тоже... У нея, кромѣ того истязанія которое я вамъ рассказала, мнѣ извѣстны, за десять лѣтъ, еще только два случая дѣйствительно жестокаго бойла... И надо признать правду, что въ обоихъ случаяхъ барышни были безобразно виноваты... А между тѣмъ заведеніе Веселкиной идетъ, какъ безупречно вывѣренная машина... И ужь, что она приказала, не безпокойтесь, будетъ исполнено точка въ точку, потому что бояться ея гораздо больше, чѣмъ мы Буластихи, даромъ что у этой чуть не каждодневныя расправы, какихъ у той выпадаетъ одна въ пять лѣтъ...

— Почему, Катя?

— Потому что... Какъ бы вамъ сказать?.. Тамъ, гдѣ съ одной стороны — тиранство, а съ другой стороны — рабы, важно не то, чтобы тиранъ, въ самомъ дѣлѣ, былъ свирѣпъ, но чтобы рабы знали и помнили, какъ онъ можетъ быть свирѣпъ, если захочетъ... Ну, и, зная и помня, старались бы, чтобы не захотѣлъ...

— Рабы... — тяжело вздохнула Лусьева. — Этакое же проклятое слово клеймящее... Прилипло къ намъ, и не отлѣпится...

— Нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ, — холодно согласилась Катерина Харитоновна.

— И, все-таки, Катя, какъ хотите, а я вамъ завидую, что вы были въ оппозиціи „Феникса“... Какъ никакъ, а попробовали, хотя бы и въ проституціи, свободны быть хозяйкою своего тѣла и сама себѣ госпожей... Жаль, что такъ плохо кончилось...

Катерина Харитоновна сѣла передъ нею на столъ, превратила вокругъ себя дымное облако въ густую тучу и изрекла, подобно пиѳіи съ треножника:

— А развѣ могло кончиться иначе?.. Ассоціація, корпорація, кооперація, организація... не для насъ, русской безтолочи, Маша!.. Слыхали вы сказку, какъ звѣрушки поселились общежитіемъ въ лошадиной головѣ?

— Не помню... а что?

— Да... прилетѣлъ комаръ-пискунъ, прилетѣла муха-горюха, приползъ жукъ-тропотунъ, прибѣжала мышка-норушка, прискакалъ зайчикъ-косоглазикъ, набралась звѣрья полная лошадиная голова... Живутъ и блаженствуютъ. И вдругъ — тукъ-тукъ! вопросъ басомъ:

— А кто въ терему, а кто въ высокомъ? — Я комаръ-пискунъ, я муха-горюха, я жукъ-тропотунъ, я мышка-норушка, я зайчикъ-косоглазикъ... а ты кто? — А я Мышка-медвѣдь, всѣхъ васъ давишь!.. Сѣлъ толстымъ задомъ на лошадиную голову... и отъ звѣринаго общежитія осталось только мокрое пятно!

— Невеселая сказка, Катя!

— Но, увы, Маша, къ сожалѣнію, вѣчная... неизбывная русская сказка, Маша!

LIV

Дружбы между Лусьевой и Катериною Харитоновною не упрочилось. Кто-то изъ женщинъ или изъ прислуги нашепталъ что-то Ѳеодосѣ Гавриловнѣ, и она остервенилась противъ новой Машиной пріятельницы, какъ лѣсной звѣрь. Цѣлую недѣлю выслушала Маша отъ бушующей покровительницы попреки неблагодарностью, претерпѣвала жестокія сцены, а когда дерзала огрызаться, бывала и бита... Зато слова и совѣты Катерины

Харитоновны крѣпко запали въ душу дѣвушки. Долго размышляя, взвѣшивая свое настоящее положеніе и возможное будущее, она пришла къ убѣжденію, что Катерина Харитоновна права.

— Хуже, чѣмъ я живу, не бываетъ. А если пройдетъ моя красота или схвачу я болѣзнь, мнѣ отсюда все равно одна дорога: на панель, либо въ публичный домъ... Если ужъ загублена я и не видать мнѣ порядочной жизни, такъ хоть вырваться бы на свою волю...

— Катерина, навѣрное, сбивала тебя на волю? — пыталась Лусьеву подѣ дружескимъ секретомъ „Княжна“.

— Да, говорила... — нерѣшительно подтвердила Маша.

— Ужъ, конечно... Это она всѣмъ проповѣдуетъ, къ которымъ чувствуетъ симпатію. Сама увязла, какъ свая, вбитая въ болото, а другихъ спасать охота. Что же? Совѣты ея неглухие. Права.

— Ты находишь?

— А ты — нѣтъ?

— Я не знаю... теряюсь... Если ей повѣрить, то выходить, что самое страшное совсѣмъ не такъ страшно... Но тогда ужъ очень досада и горе берутъ: зачѣмъ же, какъ же мы изъ-за этого страха всю жизнь-то свою изломали?

— Судьба, милый другъ! — вздохнула „Княжна“. — Все судьба. Играетъ она людьми-то. А Катерина права!.. Ахъ, если бы не кандалы мои, я и сама бы бѣжала!..

— Что ты называешь кандалами?

— Титулъ мой, дружочекъ!.. Какъ тамъ ни прикладывай, а нельзя княжнѣ жить и на докторскіе осмотры являться... скандалъ всероссійскій... родные... однофамильцы... Мнѣ жить не дадутъ въ Петербургъ!.. Нигдѣ въ Россіи!.. Затравятъ... А, пожалуй, даже еще и отравятъ, чтобы освободить родословное дерево отъ червиваго яблока!.. Поддержать, когда я поневолѣ съ голода въ грязь катилась, никто изъ нихъ меня не поддер-

жаль, а когда я въ грязи, всякій, кто про грязь мою знаетъ, меня въ нее еще глубже топчетъ!.. Кромѣ того, мы и сами скоро уйдемъ изъ жизни, — я и Артамонъ. Мы и теперь ушли бы, да у Артамона еще не добранъ капиталъ, по его разсчету. Года черезъ полтора, — онъ предполагаетъ, — мы можемъ жениться, купимъ дома въ Харьковѣ и откроемъ аукціонный залъ... Ну, а сейчасъ надо еще работать — добирать капиталъ.

— Но почему же работать непременно у Буластихи, которая отбирает почти все деньги в свою пользу?..

— НѢТЬ, у насъ особый уговоръ: я въ трети, помимо подарковъ.

— Все-таки!

— Говорю же тебѣ: меня, бѣдную „Княжну“, на своей волѣ сейчасъ же затравятъ. А то еще упрячутъ въ желтый домъ. Помочь родитѣ, когда крайняя нужда, — у насъ нѣтъ денегъ, мы не хотимъ „злоупотреблять вліяніемъ“; но чтобы помѣстить въ домъ сомасшедшихъ „позоръ семьи“ и платить за содержаніе „позора“, лишь бы не выплылъ на свѣжую воду, на это и протекція, и капиталъ сразу найдутся...

— А ты не откладывай, выходи замуж за Артамона теперь же: вот и перестанешь быть „Княжною“, а когда ты потеряешь фамилию, твоей роднѣ уже не можетъ быть до тебя никакого дѣла...

Мертвое рыбье лицо „Княжны“ слегка оживилось и покраснело.

Неужели ты воображаешь, что когда я встану из-под вѣнца — ты, Марья Ивановна, а не я, продаваться, какъ сейчасъ? Нѣтъ, милый другъ мой: я свое прошлое передъ церковью оставляю... изъ-подъ вѣнца выйду чистенькою, — Господи, благослови въ новую жизнь! — чтобы о быломъ срамѣ не было и помина.*) Такъ у насъ угово-

*) Ломброзо, 455, 456. Cutrera, 24.

рено и съ Артамономъ, а то — зачѣмъ бы и замужъ идти? Онъ вѣдь очень солидный и справедливый человѣкъ, Артамонъ, хотя любить деньги до страсти... Развѣ ему по такимъ должностямъ служить?... А затѣмъ...

„Княжна“ широко и стыдливо улыбнулась, обнажая больные зубы и бѣлыя десны.

— Ты думаешь, я не вижу себя въ зеркалѣ? Я, дружочекъ, прелестями своими не обольщаюсь и очень хорошо знаю: въ тотъ день, когда я перестану быть княжною Ловать-Гостомысловою и сдѣлаюсь просто госпожею Печонкиною, цѣна мнѣ — рубль серебра въ глухія сумерки... Этакъ, пожалуй, никогда капитала не доберешь. Нѣтъ ужъ, — покуда что, пускай сіятельность проценты приноситъ: острижемъ съ нея купоны, тогда и выбросимъ ее за окно... А что я нехороша собою, представь себѣ, мой другъ: какъ много я плакала о томъ, когда была молоденькою дѣвушкою, такъ сейчасъ очень рада. По крайней мѣрѣ — гарантія, что ужъ назадъ въ эту жизнь мнѣ хода нѣту, какія бы ни приказывали нужды... И сама не пойду, и мужу искушенія нѣтъ — заставить, чтобы шла. Не гожусь! Знаешь ли? Это совсѣмъ особое наслажденіе: сознавать, что не годишься для пакости... Этимъ я много счастливѣе васъ, красавицъ. Вы — живой товаръ цѣликомъ, сами по себѣ, а во мнѣ товару — только титулъ!

Мысль о бѣгствѣ назойливо тревожила Машу нѣсколько недѣль, но въ этотъ срокъ, разозленная сплетнями о Катеринѣ Харитоновнѣ, Федосья Гавриловна сторожила дѣвушку, какъ ревнивый драконъ, а тамъ,—впечатлѣніе сгладилось, улеглось, пассивная натура Лусьевой опять вошла въ колею рабства. Къ тому же, въ скоромъ времени ей стало гораздо веселѣе, потому что женскій составъ „корпуса“ значительно измѣнился, и кромѣ грубой, противной, безстыжей Антонины, глупой Нимфодоры и

скучныхъ нѣмокъ, новыми подругами Лусьевой оказались бывлыя „рюлинскія“ пріятельницы, Жозя и Люція.

Появленію ихъ въ буластовскомъ домѣ предшествовалъ утренній визитъ къ Прасковѣ Семеновѣ Адели, которую Маша не видала уже два года. О пріѣздѣ ея шепнула Лусьевой горничная. Маша, въ радости, сорвалась съ постели, какъ бѣшеная, и ринулась искать старую знакомую по всѣмъ комнатамъ. Но Адель была у хозяйки, а на половину Прасковьи Семеновны, какъ въ нѣкое святая святыхъ, женщины, которыми она торговала, не допускались строжайше. Грозная дама такъ хорошо знала окружающую ее, всеобщую ненависть рабынь и прислуги, что даже горничными лично при себѣ держала двухъ своихъ племянницъ, слѣпо преданныхъ ей, безобразныхъ, но страшно сильныхъ физически, дѣвокъ съ Бѣлаго Озера. Одна изъ нихъ на ночь ложилась, какъ вѣрная собака, у порога спальни, другая на коврѣ подлѣ кровати, — только тогда Прасковья Семеновна почитала свой опочивъ безопаснымъ и спала, не робѣя, что которая-нибудь изъ благородныхъ „воспитанницъ“ перерѣжетъ ей, сонной, горло...

Свиданіе Адели съ Буластовой продолжалось очень долго, часа три. Наконецъ Маша подстерегла Адель, уходящую, въ большомъ залѣ, и, хотя гостью съ почтеніемъ провожала сама Буластова, дѣвушка не вытерпѣла, — забыла всю субординацію, такъ и бросилась:

— Адель! Милая! Васъ ли я вижу? Какъ я счастлива!

Адель за два года перемѣнилась неузнаваемо: совсѣмъ другой человѣкъ, величественная матрона какая-то...

— Здравствуйте, Marie... — благосклонно и свысока, какъ принцесса, изрекла она, протягивая Лусьевой руку, затянутую въ черную перчатку. — Я тоже очень рада васъ видѣть.

— Ахъ, Адель!.. — восклицала Маша, хотя и нѣсколько

смущенная слишком сдержанною встрѣчею. Адель чуть-чуть улыбулась строгимъ лицомъ.

— Не зовите меня такъ, Marie. Адели больше нѣтъ на свѣтѣ. Есть Александра Степановна; сегодня еще Степанова, завтра Монтраше!..

— Вы выходите замужъ? за вашего Этьена, не правда ли? Ахъ, поздравляю васъ! Ахъ, какъ это хорошо!

На вопросы и восклицанія Маши Адель важно и снисходительно кивала головою.

— Вы, дорогая Прасковья Семеновна, — обратилась она къ Буластовой, — позвольте мнѣ поговорить съ Марьею Ивановною нѣсколько минутъ?

Та, начинавшая было уже поглядывать на Лусьеву звѣремъ, мгновенно расплылась въ масляную улыбку.

— Ахъ, душечка, Александра Степановна! Да хоть цѣлый день! Развѣ я моихъ барышень стѣсняю? Для такой-то дорогой гостии...

И она павою уплыла въ свои апартаменты.

— А ты, Люлюшка, — сразу перемѣнила тонъ Адель, проводивъ Буластову взглядомъ, — умнѣе не стала... Дисциплины не понимаешь! Развѣ можно было такъ бросаться ко мнѣ? Хозяйки — народъ ревнивый... этого не любятъ! Если бросаешься на шею къ старой хозяйкѣ, значить, у новой жить нехорошо... Смотри! Она тебѣ припомнить!..

— Ну ихъ всѣхъ тутъ совсѣмъ! Пускай! Притерпѣвшись!.. Ужъ очень я вамъ обрадовалась! Да дайте же поцѣловать васъ... гордая какая стала!.. Вѣдь я никого съ тѣхъ поръ не видала изъ нашихъ... понимаете, никого!

— Скоро многихъ увидишь, — утѣшала Адель, благосклонно расцѣловавшись съ Лусьевой. — Къ Прасковьѣ Семеновнѣ переходитъ значительная часть дѣла покойной Полины Кондратьевны...

— Ка-акъ вы сказали? — охнула Маша: — Полина Кондратьевна умерла?

— Скончалась... Развѣ ты не видишь, что я еще въ траурѣ? Да, Marie! Не стало нашей благодѣтельницы!

LV

Маша была такъ поражена, что пропустила мимо ушей титулъ благодѣтельницы, не слишкомъ-то, въ отношеніи ея, подходившій къ старой „генеральнѣ“. Адель продолжала:

— И представь, какъ странно она умерла: отъ радости. Она сорвала банкъ въ Монтекарло... Умница старуха! Такая оказалась на этотъ разъ благоразумная: перевела выигрышъ въ Петербургъ... И тотчасъ же телеграфировала мнѣ: „Встрѣчай, завтра выѣзжаю“. А дня черезъ три пришла полицейская телеграмма изъ Берлина: „Ваша родственница, Полина Рюлина, постигнутая въ вагонѣ курьерскаго поѣзда апоплексическимъ ударомъ, помѣщена нами въ Moabitenasyl, положеніе безнадежное“. Конечно, я сейчасъ же собралась и помчалась въ Берлинъ. Застала уже при послѣднемъ издыханіи... Да! Сколько неудачъ перенесла, а вотъ удачи не выдержала!.. Очень грустно, конечно. Но всѣмъ надо умереть, а она была уже близка къ семидесяти.

— Вы теперь богачиха, Адель! — поздравила Маша.

— Да, этотъ выигрышъ и ликвидація дѣла даютъ мнѣ недурныя средства, — спокойно согласилась Адель. — Мы сейчасъ покончили съ Прасковьей Семеновной относительно обстановки и прочаго... Эхъ, Люлю, бѣдняжка! Если бы ты оставалась еще у насъ! Теперь была бы свободна!.. Все на смарку! Понимаешь? Все!

— Бываетъ счастье, да, видно, не для насъ! — пробормотала блѣдная, съ мучительно сжавшимся сердцемъ Маша.

Адель оглянулась, не подслушиваетъ ли кто, и, выразительно глядя въ глаза Лусьевой, сказала тихо, но внятно:

— У васъ тутъ есть одна... Катерина Харитоновна... Знаешь? Ты съ нею посоветуйся... рекомендую!

Маша встрепелась и насторожилась.

— Я уже говорила...

— Тѣмъ лучше. Баба умная, слова на вѣтеръ не скажетъ, когда не пьяна. Жаль, что это съ нею рѣдко бываетъ... Ну, а теперь — до свиданья, или, правильнѣе будетъ, прощай! Въ Монпелье ты врядъ ли попадешь; а я въ Петербургъ не скоро... пожалуй, что и никогда. Ну его къ чорту!

— Пойдите... подождите... минуточку!... — цѣплялась за нее Маша. — Ну, — а Ольга — что? Какъ она поживаетъ?

Адель слегка поморщилась.

— Ты о какой Ольгѣ? О Брусаковой, что ли? Объ Эвелинѣ? Ну, да, конечно! Я забыла! Вѣдь вы друзья были, какъ два попугая... *inséparables*... Ну, съ нею плохо!... Пакетъ ея я, конечно, уничтожила, но ей оттого не легче. Она въ Швеціи, въ лѣчебницѣ для алкоголиковъ...

— Боже мой!.. — ахнула Маша.

— Безобразно пить стала... — безразлично говорила Адель. — Двѣ бѣлыхъ горячки въ зиму. Фоббель былъ деликатенъ: отправилъ ее въ лѣчебницу на свой счетъ... Конечно, очень благородно съ его стороны... А впрочемъ, кто же и спонсиръ ее, какъ не онъ? Вмѣстѣ въ охотничьемъ домикѣ чертей по стѣнамъ ловили... „Студентъ“ отравился. Слышала? Въ газетахъ писали.

— Нѣтъ... Совсѣмъ, значить, съ ума сошелъ?

— Кто знаетъ? Онъ въ „Акваріумѣ“ былъ съ Ремешкою... Вдругъ подходитъ къ нимъ какой-то господинъ. Смотритъ на

„Студента“ въ упоръ и говорить: „Такъ вотъ ты гдѣ? Ловко!..“ „Студентъ“ поблѣднѣлъ, а господина — какъ не бывало: пропалъ въ публикѣ. „Студентъ“ говоритъ Ремешкѣ: „Ты — какъ хочешь, а мнѣ здѣсь оставаться больше нельзя...“ И уѣхалъ въ городъ. Вернулся Ремешко поутру домой, а „Студентъ“ лежитъ подъ письменнымъ столомъ, уже холодный: „Жить надоѣло. Въ смерти моей проину никого не винить“...

— Поди, хлопотъ-то, хлопотъ вамъ было?

— Нѣтъ, ничего... Конечно, непріятно, но — могло быть хуже. Если бы его прослѣдили, тогда — дѣйствительно — исторія была бы. А тутъ — что же? Жилъ-былъ титулярный совѣтникъ и дворянинъ Иванъ Лазаревичъ Войковъ, и пришла ему фантазія покончить свое существованіе посредствомъ ціанистаго кали... Свалили на несчастную любовь. Жозька передъ слѣдователемъ трагедію распустила, будто изъ-за нея... Ну, и квитъ. Только паспортъ погасъ.

— Кто онъ былъ, Адель?

— Ну, душенька, объ этомъ я и сама не все знаю, а — что знаю, постараюсь хорошо позабыть.

— Я думала, что теперь, когда мертвый, можно...

— Есть, Люлю моя милѣйшая, такія сокровища, что и мертвецамъ опасны. Полина Кондратьевна отчаянная была, что „Студенту“ пристанище давала... Рано или поздно изъ-за него всѣмъ намъ крышка была бы. Долго еще этотъ страхъ мнѣ мерещиться будетъ. Молодчина „Студентъ“, что отравился! Жилъ свиньей, но умеръ хорошо.

— Господинъ-то въ „Акваріумѣ“ кто же — сыщикъ, что ли, былъ?

— А чортъ его знаетъ! Нѣтъ, — если бы сыщикъ, то на мѣстѣ арестовалъ бы... Скорѣе, не изъ товарищей ли старыхъ? Отъ этой публики, если клещомъ прищипится, можно схватиться за ціанистый кали пуще, чѣмъ отъ сыщика.

— А „Графчикъ“?

— Его въ ту пору, къ счастью, уже не было въ Петербургѣ. Съ нимъ намъ давно разстаться пришлось: очень обнаружил-ея... изъ провинціи слухи доходить стали... Теперь онъ въ Египтѣ живетъ, въ Портъ-Саидѣ „домъ“ держать... Воображаю этотъ вертепъ!

— Такъ что вы дотягивали дѣло съ однимъ Ремешкою?

— Да, съ твоимъ Ремешкою. Ну, этотъ въ огнѣ не горитъ, въ водѣ не тонетъ, и, конечно, везетъ канальѣ. Обрѣлъ въ Маріенбадѣ набобшу какую-то... рожа — на всѣхъ звѣрей похожа, но деньжищъ куча... Женится и навсегда въ Австралію перебраться намѣренъ.

— Господи! Куда только такихъ людей не бросаетъ!

— Да. Супруга ему титулъ покупаетъ у португальскихъ графовъ какихъ-то... Мы съ нимъ разошлись по чести, пріятелями. Этьенъ даже парфюмерію свою женѣ его поставлять будетъ...

Марья Ивановна вспомнила, какъ покойная Рюлина не соглашалась отпустить Ремешку изъ крѣпостной зависимости документамъ ея даже за пятьсотъ тысячъ, и повторила:

— Но какая же вы теперь должны быть капиталистка, Адель!

Адель пропустила ея восклицаніе мимо ушей, видимо не желая разговора о средствахъ своихъ, и продолжала:

— А графъ Иринскій умеръ. Уже давно. И — какъ скверно, старый подлецъ! Представъ: у него нашлась какая-то бѣдная кузина, а у той дочь, дѣвчонка лѣтъ одиннадцати, — херувимъ вербный. Стариканъ увидѣлъ и обомлѣлъ, а кузина сообразила накрыть нашего почетнаго хорошимъ шантажемъ. Поторговались они, сколько прилично, сперва обиняками, потомъ начисто. Наконецъ кузина соглашается, назначаетъ: пріѣзжайте въ шесть часовъ вечера... я уйду ко всеобщей и при-

слугу ушлю... Тотъ, глупая мумія, въ восторгѣ, прикатилъ, ногъ подъ собою не чувствуетъ... А кухня — въ чуланъ засѣла, свидѣтелей припасла. Ну... слышнѣе небольшая, но честная компанія: визжитъ дѣвчонка не своимъ голосомъ, благимъ матомъ... Бѣгутъ, торжествуютъ: вотъ, сейчасъ накроёмъ! А та, знай, вопить изъ своей комнаты. И слышно по голосу, что не притворяется, какъ велѣно, а уже въ самомъ дѣлѣ. Дверь заперта... Сломали дверь... Графъ-голубчикъ сидитъ на стулѣ, зубы вставные ощерилъ, буркулы бѣлые выпучилъ и дыханія въ немъ — ни на мертваго кота! А дѣвченка въ уголъ прижалась, тоже вся синяя стала, волосы дыбомъ, заревѣлась отъ страха... Кухину эту потомъ изъ города выслали, однако сорвать успѣла; говорятъ, наслѣдникамъ стоило тридцать тысячъ, чтобы не разглашала скандала. Полинъ Кондратьевнѣ, по завѣщанію, графъ ни копейки не оставилъ, только фарфоровые часы старинные: Дафнисъ и Хлоя... или что-то еще нѣжнѣе! Чувствительный старичокъ! Да чортъ съ нимъ! Мы были рады и тому, что онъ протянулъ ноги не у насъ въ домѣ. Вѣдь этого давно надо было ожидать. Онъ, знаешь, все молодился, средства принималъ различные... Это даромъ не проходить! Ну, прощай! Не поминай лихомъ!

— Прощайте, Адель, милая!.. Будьте счастливы... Дай Богъ вамъ и Этьену!.. Прощайте!.. — печально твердила дѣвушка, провожая ее на лѣстницу. Она бы и внизъ, на подъѣздъ, за Аделью пошла, но сильная рука придержала ее сзади за локоть.

— Ну, ужъ это, дѣвушка, тпру... Нельзя! Самимъ нужна! — смѣясь, не пустила ее Ѳедосья Гавриловна.

Внизу тяжело хлопнула дверь... Адель навсегда исчезла изъ жизни Марьи Лусевой. Почему дѣвушкѣ было грустно, она сама и не знала: кромѣ нравственной гибели, закабаленія, предательства, безсовѣстной эксплуатаціи и суровой силы

она отъ Адели ничего не видала... Однако, къ всеобщему и собственному изумленію, вздыхала, хмурилась, хандрила и чуть не плакала нѣсколько дней. Должно быть, всегда непріятно, когда, вмѣстѣ съ человѣкомъ, отходить отъ насъ цѣлый періодъ прожитой жизни — жаль терять свидѣтеля молодости, лучшей, чѣмъ текущіе дни, будь свидѣтель этотъ даже бывшій врагъ... Въ другое время Машѣ сильно досталось бы за ея „мехлюдію“, но Буластиха и Ѳеодосья Гавриловна были ужъ очень въ духѣ: онѣ обстрипали съ Аделью выгодное дѣльце.

Адель сообщила Машѣ неполную правду объ уничтоженіи „пакетовъ“. Рѣшивъ ликвидировать опротивѣвшее дѣло, она просто предложила всѣмъ данницамъ Рюлиной единовременный дешевый выкупъ. Тѣ, которыя были въ состояніи заплатить назначенныя суммы или обезпечить ихъ надежными векселями, дѣйствительно, получили свободу. Несостоятельныхъ она полуосвободила, оставивъ у себя ихъ „пакеты“ — до выплаты уговоренныхъ суммъ, а до тѣхъ поръ закабаливъ ихъ въ распоряженіе Перхуновой и Юдиои. Буластова осталась вѣрна своей антипатіи къ „пакетамъ“ и въ эту операцію больше не вступала, зато она задешево скупала мнимые „долги“ тѣхъ женщинъ, которыя работали при Рюлиной добровольно и, со смертию своей повелительницы, не собирались отстать отъ промысла тайною проституціей. Въ томъ числѣ оказались Жозя и Люція.

LVI.

Маша была рада старымъ подругамъ, ни мало не претендуя, что очень скоро, новенькія для буластовской кліентуры, пикарныя „рюлинскія“ немного оттѣснили ее на задній планъ. Маскоттою корпуса сдѣлалась Жозя, разжирѣвшая за два года, какъ гаремная одалиска, и обнаглѣвшая до хамства*). Калаш-

*) Ломброзо, 280, 281. *Parent Duchatelet.*

никовская пристань и Гостиный дворъ заболѣли поголовною влюбленностью къ веселой и разбитной особѣ, — она слыла за пріѣзжую польскую графиню! — и прониклись чрезвычайнымъ уваженіемъ къ Люціи, съ ея классическою способностью наливать себя спиртными напитками въ совершенно оголѣломъ количествѣ, по востребованію. Величавой русской красоты своей Люція, хотя и порядкомъ обрюзгшая, еще не утратила, но голосъ уже сорвала и день свой начинала лафитнымъ стаканчикомъ водки натощать. Изъ нея вырабатывался тотъ типъ русской алкоголички, что — хотя море выпьетъ, вдребезги пьяна не будетъ, зато и совершенно трезвою никогда не бываетъ, словно проспаться времени нѣтъ. Оглупѣла она страшно, курила, какъ солдатъ, походя ругалась и со дня на день опускалась въ циническое неряшество*

— Права была Рюлина, душка! — шептала Машѣ Жозя, — не слѣдовало бы Люціи изъ чернаго тѣла выходить... Какая она была очаровательная тамъ, когда горничною: платице бордо, фартукъ бѣлоснѣжный... А теперь въ грязныхъ капотахъ этихъ, въ туфляхъ на босу ногу... халда халдою!..

— Спойлъ Фоббель, шведъ проклятый!.. — жаловалась сама Люція въ минуты посвѣтлѣе. — Что Эвелину, что меня. Ту ума рѣшилъ, а мнѣ нутро испортилъ.

— Развѣ у тебя болить что-нибудь?

— Ничего не болить, а разбитая я вся... Ногою, рукою двинуть лѣнь... И — ровно камни во мнѣ наложены...

— Ненадежная дѣвка! — по секрету, въ ночи объясняла Машѣ Ѳедосья Гавриловна. — Ты не смотри, что она буйволь съ фигуры и рожа треснуть хочетъ. Это ее печенка вздуваетъ, какъ опару, — печень жиромъ прорастаетъ... Слышишь, —

*) *Parent Duchatelet*, 135—137.

одышка-то у нея? Что твой паровозъ. И — вотъ, подуеъ ея этакъ годика полтора, а потомъ однажды пойдетъ у нея кровь носомъ, пойдетъ кровь горломъ... Ну, и — аунюшки-Дунюшки! Это ужъ, стало быть, жиръ задушилъ: черезъ мѣсяцъ пожалуйста въ Смоленскую вотчину, въ Волково имѣніе, къ старостѣ Митрофанію... Наша-то уже сообразила, что покупка не прочна. Оттого и пушаетъ ея и въ хвостъ и въ гриву: отдыха не даетъ, — торопится выжать, что больше...*)

Дѣйствительно, Буластиха заставляла Люцію „работать“, какъ обреченную на убой, — безъ жалости, безъ совѣсти, давая ей отдыхъ развѣ лишь тогда только, когда не бывало вовсе никакого спроса на товаръ.

Обыкновенно въ заведеніяхъ Буластихи женщины быстро обзаводились постоянною кліентурою посѣтителей, въ цѣпь которой случайный гость врывался сравнительно рѣдко и являлся въ ней не слишкомъ желательнымъ не только для женщины, но даже для самой корыстолюбивой хозяйки. Дескать, — дохода отъ этакихъ метеоровъ на сто рублей, а хлопотъ съ ними на тысячу. Да еще, не ровень часъ, подсунется, подъ видомъ „понта“, доносчикъ, газетный корреспондентъ, либо какой-нибудь ретивый спасатель, съ возможностью скандальной огласки.

Собственно говоря, Буластиха мало таилась своею профессіей, совершенно ея не конфузилась и скандала, какъ препятствія къ дальнѣйшей торговлѣ, не особенно боялась, чтобы не сказать: не боялась вовсе. Съ полиціей она была въ наилучшихъ отношеніяхъ, расплачивалась съ блюстителями, и натурою, т. е. тѣлемъ закабаленныхъ рабынь**). Годовой оборотъ Буластихи надо было считать во многія сотни тысячъ, но добрую треть огромныхъ суммъ этихъ, а то и больше, отстригало

*) *Ломброзо, 417. Кузнецовъ, 21—23.*

**) *Рубиновскій, 22—23.*

полицейское мздоимство. Конечно, Буластиха была увѣрена, что полиція никогда не захочетъ потерять въ лицѣ ея курицу, непрерывно несущую золотыя яйца, а потому, что бы ни случилось, сумѣетъ не выдать ее ни суду, ни печати, ни даже собственному начальству — высшей администраціи, будто въ ней найдется такой Аристидъ, что самъ не беретъ.

Но каждый гласный скандалъ обходился Прасковѣ Семеновнѣ безумно дорого и хлопотно, какъ почти непосильная экстрѣ: надо было сыпать деньгами, угощать, устраивать бесплатно дорогія вечеринки и оргіи, терпѣть, не въ очередь, и безъ того унижительную зависимость и безграничное полицейское хамство. Рюлина, защищенная аристократическою титулованною кліентурою, платила полиціи очень крупныя и тонкія взятки, которыя застревали гдѣ-то на верхахъ, но „плевать хотѣла“ на мелкую полицейскую сошку. Когда она проѣзжала своею улицею, околоточные вытягивались во фронтъ, участковый приставъ почтительнѣйше козырялъ. Сунуться съ вымогательствомъ въ домъ, гдѣ рискуешь налетѣть — хорошо еще если только на графа Иринскаго, а то, не ровень часъ, и на такую высокопоставленную особу, что и самъ-то графъ Иринскій не смѣетъ при ней сѣсть безъ приглашенія, — было для форменнаго сѣраго пальто съ свѣтлыми пуговицами предпріятіемъ дерзости наглою, почти невозможной. Но къ гостинодворской Буластихѣ и ея подручнымъ „хозяйкамъ“ ломился запросто каждый полицейскій чиновникъ, которому приходила фантазія выпить на даровщину бутылку портера либо рюмку другую коньяку и безотказно позабавиться съ дѣвками. Дорогой развратъ, обыкновенному гостю обходившійся въ десятки, а то и въ сотни рублей, полиціи доставался не только даромъ, но еще и съ приплатами.

Въ корпусѣ было сравнительно лучше, потому что у Буластихи бывалъ, какъ свой человѣкъ, и частенько загуливалъ съ

пріятелями мѣстный частный приставъ: присутствіе такой большой акулы не давало широкаго хода въ воды ея мелкимъ щукамъ и головлямъ. И, тѣмъ не менѣе, рѣшительно всѣ женщины корпуса къ числу своихъ постоянныхъ платныхъ гостей должны были волею-неволею приписать еще какого-либо постоянного же, бесплатнаго полицейскаго. Эта повинность была настолько неизбежна, что — дабы избавить свою фаворитку отъ худшихъ притязаній и поползновеній — Ѳедосья Гавриловна сама поторопилась свести Марью Ивановну съ помощникомъ участковаго пристава, молодымъ и относительно приличнымъ человѣкомъ, который любилъ читать переводные романы, а потому уже не находилъ ни удовольствія, ни шика въ томъ, чтобы ни съ того ни съ сего бить женщину по лицу, пока не потечетъ кровь, позывать ее изъ ночного горшка либо тушить на грудяхъ ея тлѣющую папиросу. Къ „хозяйкамъ“ же безъ церемоніи влѣзалъ въ квартиры любой загулявшій околоточный и — „мо-ему ндраву не препятствуй!“.

Всѣ эти звѣрскія и плутовскія бабы, свирѣпыя съ своими воспитанницами, наглыя съ гостями, безстрашныя даже передъ убійственными кулаками всегда готовыхъ къ преступленію жильцовъ, терялись въ присутствіи полицейскаго мундира до паники и разстиались передъ нимъ, какъ трава подъ вѣтромъ, трепетныя, трусливыя, жалкія. И — Боже сохрани, если какая-нибудь строптивая или непривычная рабыня не умѣла достаточно угодить его благородію. Били ее потомъ смертнымъ боемъ. „Полиція — выше всего!“ было твердымъ убѣжденіемъ и правиломъ въ дѣлѣ Буластихи. Уважь, ублажи полицію, — и тогда ничего не бойся. Идти противъ капризовъ и прихотей полиціи считалось въ аду этомъ дерзновеніемъ столько же невообразимымъ и преступнымъ, какъ для какого-нибудь благочестивца-дервиша — отрицать судьбу и волю Аллаха.

Конечно, тайная общая ненависть къ полиціи во всѣхъ

вертепахъ была безпредѣльна, равняясь только ужасу предъ нею же, какъ предъ спрутомъ, — всеобъемлющимъ, чтобы высасывать соки изъ всего, что плыветъ навстрѣчу. Нажить дѣло, способное еще увеличить органическую зависимость отъ полицейской паутины, почиталось величайшимъ бѣдствіемъ и горемъ. Подвести домъ подъ вмѣшательство полиціи считали непорочнымъ даже самыя буйныя и своевольныя женщины, даже такія сознательныя и злобныя ненавистницы своихъ хозяекъ, какъ Катерина Харитоновна.

LVII.

Опаска ненасытныхъ полицейскихъ аппетитовъ была главною причиною осторожности Буластихи къ случайнымъ гостямъ. Она не столько стремилась расширять свою кліентуру, сколько упрочивать имѣющуюся. Собственно говоря, всѣ ея женщины очень скоро превращались въ особый видъ заточенныхъ содержанокъ, тянувшихъ въ пользу хозяйки своей деньги съ пяти, шести мужчинъ, ихъ посѣщающихъ болѣе или менѣе періодически и постоянно. Ничего подобного Марья Ивановна не знала у Рюлиной, гдѣ все дѣло строилось, какъ азартная игра, расчетами на огромные куши, на богатую многотысячную авантюру.

Красавицы Рюлиной часто цѣлыми недѣлями отдыхали безъ всякаго спроса, и это ни Полину Кондратьевну, ни Адель не смущало и не тревожило нисколько. Потомъ вдругъ, подобно оргіиному шквалу, налеталъ какой-нибудь стальной король изъ Пруссіи, знатный бразильянецъ съ брильянтами въ ноготь величиною, султанъ изъ Малой Азіи или индѣйскій принцъ, и въ два-три дня касса Адели переполнялась тысячными кушами, сторицею вознаграждаемая за долгое отсутствіе торговли. Дѣло

Буластовой работало по-мѣщански, изо дня въ день, не ожидая шальныхъ срывовъ, не зная заминокъ и паузъ. Въ дѣлѣ Рюлиной женщина, по натурѣ своей не охочая истязать себя мукамъ стыда и совѣсти, могла, благодаря антрактамъ этимъ и метеорическому характеру заботокъ, сохранить съ грѣхомъ пополамъ нѣкоторую иллюзію, будто она еще не вся — только продажное тѣло, не совсѣмъ профессиональная проститутка. Въ дѣлѣ Буластовой объ этомъ напоминалъ и въ этомъ убѣждалъ рѣшительно каждый день.

Рынокъ пестрѣлъ и колебался для новенькой недолго. Не пробыла Марья Ивановна въ „корпусѣ“ Буластихи еще и двухъ мѣсяцевъ, а уже время для нея переложилось въ своеобразный календарь, гдѣ понедѣльникъ обозначалъ какихъ-нибудь Митю Большого, Колю Химика, Карлушу Длинные Усы, вторникъ — Митю Средняго и Адама Семь Пудъ и т. д. Всѣ гости имѣли свои прозвища, и нѣкоторые такъ къ нимъ привыкали, что уносили ихъ съ собою — конечно, пріятельскими стараніями — даже и во внѣшнюю жизнь. Уже очень вскорѣ Марья Ивановна знала по календарю этому, что 1-го и 15-го числа, аккуратно въ 7 часовъ вечера, будетъ къ ней гость-англичанинъ, управляющій крупною мануфактурою въ Твери, повезетъ ее и Федосью Гварилловну въ кафе-шантанъ, накормитъ отличнымъ ужиномъ, а затѣмъ въ Биржевой гостиницѣ будетъ до шести часовъ утра учить ее танцовать, въ голомъ видѣ, жигу и пѣть похабныя матросскія пѣсни. Знала, что 20-е число надо сохранять для вице-директора одного изъ виднѣйшихъ департаментовъ, который имѣетъ обыкновеніе прошивать въ „корпусѣ“ свое мѣсячное жалованье до послѣдней копейки, а поутру беретъ у Буластихи сто рублей займа до будущаго визита и — ужъ Богъ его знаетъ, какъ онъ потомъ изворачивается. Знала, что въ октябрѣ, по послѣдней сибирской навигаціи, прикатитъ изъ Енисейска Степанъ Широкихъ, и ужъ тутъ всякій календарь

придется недѣли на двѣ пустить по боку, потому что засыплеть Буластиху деньгами, залъетъ женщинъ шампанскимъ, а напоследокъ непременно изобьетъ и „Княжну“, и Машу, и Фраскиту, „чтобы помнили“.

Машина разврата работала холодно, мѣрно, точно и скучно, съ программами спроса, предвидѣннаго, какъ сезонный сбытъ въ магазинѣ. Буластиха была жадна, но расчетлива. Она высчитала, что Маша должна приносить ей не менѣе двухъ тысячъ рублей въ мѣсяцъ, и выколачивала изъ нея сумму эту развратомъ десяти-двѣнадцати мужчинъ, приходящихъ кто разъ, кто два въ недѣлю, кто рѣже. По понятіямъ рынка, торгующаго живымъ товаромъ, это — легкая работа. Въ Марьѣ Ивановнѣ видѣли товаръ цѣнный и работоспособный надолго, ее берегли.

Но въ бѣдной стившейся Люціи, какъ въ клячѣ, везущей изъ послѣднихъ силъ, старались только какъ можно полнѣе использовать остатокъ энергіи, вскорѣ — всѣмъ завѣдомо — должной погаснуть. Точно отрѣзокъ драгоцѣннаго бархата, ее продавали въ розницу, по мелочамъ, — по техническому выраженію вертеповъ — „на время“. Отупѣлая отъ алкоголя, полусонная и безразличная машина механическаго разврата, она теперь только и дѣлала день деньской, что переѣзжала въ сопровожденіи той или другой дуэньи, въ каретѣ или на извозчикѣ, отъ одной хозяйки къ другой — съ одного свиданья на другое, либо изъ ресторана въ ресторанъ — съ одной попойки на другую. Нерѣдко случалось, что она бывала жестоко пьяна по три раза на день. Ослабѣть въ компаніи одного „понта“, а гдѣ-нибудь ждетъ уже другой. Дуэнья вливаетъ несчастной дѣвкѣ въ ротъ рюмку воды съ десятью каплями нашатырнаго спирта и — полувытрезвленную, качающуюся, дремлющую, бормочущую — везетъ въ объятія новаго потребителя. Въ иные дни бойкаго сезоннаго спроса Люція свершала подобныхъ переѣздовъ пять, шесть и болѣе*).

*) Рубиновскій, 4—8.

Отъ необходимости заглушать въ дыханіи своемъ запахъ перегорающаго спирта, Люція выучилась жевать жженый кофе и вскорѣ стала ѣсть его чуть не горстями, наживая привычку новаго самоотравленія. Принимать нормальную пищу она почти вовсе перестала. Когда она успѣвала спать, — всѣ тому удивлялись. Женщинъ своихъ Буластиха расцѣпывала дорого, въ многихъ десяткахъ, а то и въ сотняхъ рублей, и, обыкновенно, держала цѣны крѣпко. Но Люцію, въ спѣхѣ выколотить изъ нея капиталъ до послѣдняго дна, почтенная промышленница пустила, что называется, на дешевку — алчную и безпощадную, создающую вокругъ товара жадный и дикій толкучій рынокъ.

— Того недостаетъ, чтобы на Невскій гулять выгоняла! — шептались втихомолку запуганныя рабыни, съ тайнымъ ужасомъ слѣдя, какъ на глазахъ ихъ убивали медленно, но откровенно и навѣрняка, больного, отравленнаго человѣка. А Буластиха равнодушно запирала въ шкатулку свою убійственныя двадцатипятирублевки... Бывало не рѣдко, что число ихъ достигало десяти въ сутки...

Всѣ знали, что Люція обречена на смерть, и никто не смѣлъ заговорить съ нею о томъ. Понимала ли она сама свое положеніе, — кто ее знаетъ. Бессонница, пьянство и утомленіе сдѣлали ее будто полоумною. Если она не „работала“, то — спать не спала, но дремала, ходя, сидя, стоя, лежа, поминутно забываясь въ короткихъ безпокойныхъ грезахъ — часто даже до того, что вдругъ храпѣла и свистала носомъ среди обращеннаго къ ней разговора. И такъ же внезапно просыпалась и долго потомъ не могла придти въ себя отъ сонной одури, хлопая глазами, какъ идиотка, трудно соображая, гдѣ она, почему, зачѣмъ.

Коньякъ и водка поднимали ее, встряхивали, но иногда, хваивъ стаканъ-другой на безконечно запасенныя „старыя дрожжи“, Люція сразу ошалѣвала, впадала въ бѣшенство и

скандалила, — буйно, дико, грязно и непроизвольно: точно не сама бушевала, но кто-то другой, чужой, сидящий въ ней, зло-
радный, бѣсовскій, ужасный. Тогда Люцію вязали и потомъ
били — жестоко и долго, по всеѣмъ мякотямъ тѣла, мокрыми
жгутами, чулками съ пескомъ, резиною. Она выла, пока не
засыпала, а часовъ пять-шесть спустя — проснувшись, едва
живая, вся разбитая, — наскоро опохмелялась полбутылкою
водки и, воскресшая, какъ ни въ чемъ не бывало, опять шла на
„работу“ — пьянствовать и отдаваться...

Опытная Федосья Гавриловна смотрѣла на разрушеніе Лю-
ціи съ большою тревогою.

— Увидите, Прасковья Семеновна, — убѣждала она хо-
зяйку, — устроить вамъ Люська уголовщину въ домѣ.

— Каркай, ворона!

— Не обопьется, такъ удавится, а то съ ума сойдетъ, квар-
тиру подожжетъ... Чортиковъ-то она уже ловила на прошлой
масляной. Либесвортишка еле отходилъ.

— Здорова корова! Еще на три бѣлыхъ горячки хватить.

— Да, вѣдь, это — какъ вино позволить, а оно — на
этотъ счетъ самое капризное. Можетъ десять лѣтъ ждать, а
захочетъ — завтра въ гробъ уложить... Будетъ вамъ жадни-
чать-то, взяли свой профитъ, попользовались, пора ее съ рукъ
спустить...

Буластова и сама все это понимала, но ужъ больно жаль
было собственными руками погасить такую богатую доходную
статью — и все ждала, откладывала да авоськала...

Лусьева, какъ давняя пріятельница Люціи, страшно вол-
новалась и беспокоилась ея грядущею, близко наступающей
судьбой, въ которой, какъ будто смутнымъ предостереженіемъ,
звучала отдаленная угроза ей самой. Марья Ивановна пила
вино еще не слишкомъ много, не до отравленія организма въ
хроническую привычку, но ей уже частенько таки случалось

„ошибаться“ то коньякомъ, то шампанскимъ, то портеромъ... временами уже чувствовалась гнетущая, тоскливая потребность въ алкогольѣ, и, безъ вина за столомъ, кусокъ уже не шель въ горло. Она боязливо спрашивала то „Княжну“, то Ѳедосью Гавриловну:

— Если Прасковья Семеновна не захочетъ больше держать Люцію, куда же она дѣнется? Вѣдь у нея ничего нѣтъ, и она совсѣмъ болѣзная?

Обѣ, хоть и врозь, отвѣчали, точно спѣлись:

— Какъ куда? Теперь ей самое настоящее мѣсто — въ открытомъ заведеніи. Тамъ такой работницѣ цѣны нѣтъ. Въ открытое заведеніе хозяйка и сплавить ее...

„Княжна“ прибавляла:

— На убой.

Маша пугалась:

— Что ты, Лидія? Словно про скотину.

— Ну, конечно, надорвался призовой рысакъ, — кончатъ ему жизнь на живодернѣ. Износились до времени красавица-кокетка, — куда же ее дѣвать, какъ не въ публичный домъ? Жизни Люціи тамъ — много-много, если на полгода... У насъ изъ нея выжали, а тамъ кожу сдеруть и жилы вытянуть — въ пятирублевомъ-то оборотѣ!

— Да помилуй! Возможно ли ей еще работать? какъ же? Она едва жива отъ одышки. Ей бы въ больницу надо лечь, полѣчиться бы...

Ѳедосья Гавриловна возражала со смѣхомъ:

— Ахъ, скажите, какія нѣжности. Подумаешь, барыня! А долгъ ея Прасковья Семеновна тѣмъ временемъ съ тебя, что ли, получать будетъ?

— Помилуйте, Ѳедосья Гавриловна, какой же можетъ быть еще долгъ за Люціей? Она работаетъ на хозяйку больше всѣхъ насъ...

Экономка подмигивала:

— Это само собою разумѣется, что заправскаго долга никакого нѣтъ, — откуда ему взяться? Что Аделькѣ заплачено, что вещами забрано, Люська давно вдесятеро покрыла. Только въ дѣлѣ принято такъ говорить, будто долгъ... По-правильному же сказать будетъ — отступное. Потому что хозяйка должна соблюсти свой профитъ до конца... Безъ пяти тысячъ на выходъ ей съ Люською разстаться — значить себя обидѣть.

— Ну! Кто же рѣшится дать? Всякому сразу видно, что Люся — уже совсѣмъ больная. У нея ноги пухнуть. У нея подъ глазами за ночь такіе мѣшки натекають, что она едва вѣки разлѣпить можетъ...

— Эвона! Только кликни кличь! По нашему дѣлу — больна, въ тиражъ выходить, а по-ихнему — золотой кладъ. Люськина работа не одному Петербургу извѣстна. Три-то тысячи за нее уже сейчасъ даютъ, въ Москву ее, къ Стоецкой торгуютъ. Но хозяйка уперлась на пяти, меньше — ни-ни. Да и права: ежели Люська переживетъ лѣто, то пять-то тысячъ она покроетъ одною Нижегородскою ярмаркою...

— Говорю же тебѣ, — желчно прибавляла „Княжна“, — на бѣгахъ конь оплошалъ, на заводъ не годится, а на живодернѣ еще себя оправдаетъ... хоть куда!*)).

LVIII.

Машу Буластиха перевела въ новый родъ эксплуатаціи: какъ раньше „Княжну“, ее начали разсылать по городамъ. Сперва она „гастролировала“ подъ неизмѣннымъ присмотромъ Ѳедосьи Гавриловны. Но вотъ — однажды, звѣроподобную

*) Судьба Луцій : Ломброзо, 417. Кузнецовъ, 21—23. Рубиновскій, 4—8.

экономку угораздило оступиться въ „корпусѣ“ на лѣстницѣ и, пересчитавъ тяжелымъ тѣломъ своимъ ступени двухъ этажей, улечься въ третьемъ со сломанною ногою. Оедосью Гавриловну пришлось отвезти въ больницу.

Для Маши настали тяжелые, безрадостные дни, полные опасностей и оскорбленій. Какъ только ея покровительницу вывезли изъ „корпуса“, все его женское населеніе, за исключеніемъ „Княжны“ и бывшихъ рюлинскихъ, набросилось на Машу, какъ на обезсилѣвшую, лишенную защиты, фаворитку, подобно стаѣ разозленныхъ осъ.

Даже лупоглазая, бѣлотѣлая Нимфодора — и та злорадно напрягала свой тусклый деревенскій умишко, чтобы напакостить ненавистной „барышнѣ“ какъ можно обиднѣе и гнуснѣе. Уже и раньше того, однажды Оедосья Гавриловна застала эту убогую красавицу за прелестнымъ занятіемъ: дура провертѣла буравомъ дыру въ перегородкѣ, у которой стояла постель Марьи Ивановны, вставила въ дыру соломинку и перепускала сквозь нее, собранныхъ въ пилюльную коробочку, вшей. Конечно, за остроуміе игры этой Нимфодорѣ пришлось жестоко поплатиться. Но она только хихикала, да шмыгала носомъ, да твердила:

— Хи-хи-хи! Нешто! Пуцай Машку заѣдятъ. Хи-хи-хи! Пуцай Машку заѣдятъ!

— Откуда ты, проклятая, набрала этой пакости? — изумлялась на нее экономка. — Кажись, у насъ въ домѣ не водится?!

Оказалось, въ теченіе цѣлой недѣли собирала коллекцію, добывая насѣкомыхъ отъ одной изъ горничныхъ, которая приносила ихъ откуда-то съ воли, по пятаку за двадцать штукъ...

— У насъ въ деревнѣ, — хихикала Нимфодора, — когда двѣ дѣвушки другъ дружку не влюбятъ, всегда — такъ.

Предъ этимъ озорнымъ упорствомъ тупой безпричинной ненависти Машу брала оторопь.

— Что я тебѣ сдѣлала? За что ты противъ меня?

Нимфодора и сама не знала. Но не зная, всетаки ненавидѣла. Дулась, какъ клопъ, и молчала, косясь на Марью Ивановну совершенно искренне злыми, опасными глазами сердитой идіотки.

— Дура ты, сука, идіотка окаянная! — въ свою очередь ругала рѣпоглазую волжанку экономка, — ну, а я? Обо мнѣ то ты умишкомъ своимъ пришибленнымъ не сообразила, что мы съ Машкой въ одной комнатѣ живемъ, на одной постелѣ спимъ? Стало быть, ты и меня хочешь наградить этимъ гнусомъ?

— Нѣ... васъ воши не тронуть...

— Почему это?

— Онѣ на Машку наговоренныя.

— А, что съ тобой толковать! Богъ тебя убилъ, такъ людямъ и подавно бить надо!

Посыпались пощечины, загуляла плетка. Нимфодора взвыла. Марья Ивановна прислушивалась издали не безъ злораднаго удовольствія. Въ этомъ аду злости, трусости и рабской приниженности она сама ожесточилась сердцемъ и опустила нравственно, мало-по-малу теряя природную мягкость и добродушіе, такъ долго помогавшія ей переллывать грязную лужу своего позора, не погружаясь въ нее совершенно.

Разъ всѣ ея товарищескія попытки отвергнуты и ведутъ только къ глумленію и обидамъ, — такъ чортъ же съ ними, съ этими злыми дурами и негодяйками! Она тоже пойдетъ противъ нихъ — примкнетъ къ силѣ, предъ которою онѣ трепещутъ.

До сихъ поръ она нисколько не злоупотребляла своимъ положеніемъ „экономкиной душеньки“, теперь стала давать его чувствовать всѣмъ, кто показывалъ ей когти. Наушничала и даже клеветала, навлекая на товарокъ-врагинь ругань и побои Ѳедосьи Гавриловны, которая со дня на день все больше души не чаяла въ своей „Машкѣ“ и вѣрила ей безусловно. Самой

Буластихъ Марья Ивановна тоже старалась угодить, чѣмъ только могла и умѣла: безбожно ей льстила въ глаза и за глаза, при всякомъ удобномъ случаѣ благоговѣнно прикладывалась къ ея мясничьимъ ручищамъ и перебивала у горничныхъ возможности услужить хозяйкѣ — „подай, убери, принеси“. Повелительницамъ это очень нравилось, но барышень возмущало, и даже „Княжна“ стала относиться къ Марьѣ Ивановнѣ холодно-вато. Антонина же громко говорила, что Машка не только „экономкина душенька“, но и хозяйкинъ „духъ“, т. е. шпионка и доносчица, и, лишь бы случай вышелъ, а давно пора съ нею расправиться безъ жалости.

— Нимфодора глупа-глупа, — наущала она, — а на счетъ вшей не худо придумала. Только Машкѣ не простыхъ бы, а въ пузыречкѣ изъ больницы — тифозныхъ...

LIX.

Съ удаленіемъ Федосьи Гавриловны для мстительныхъ продѣлокъ открылось широчайшее поле, а времени — двадцать четыре часа въ сутки. На рѣшительныя, т. е. убійственныя или калѣчащія мерзости не дерзали посягать, памятуя, что „Машка“ — дорогой товаръ, за порчу котораго Буластиха съ виновныхъ шкуру сдеретъ. Но дѣлали все, чтобы отравлять „Машкѣ“ существованіе изо дня въ день, изъ часа въ часъ, изъ минуты въ минуту.

Сегодня Марьѣ Ивановнѣ обливали жавелевою кислотою дорогое бархатное платье, которое, по буластовской расцѣнкѣ, стоило горемычной кабальницѣ, по крайней мѣрѣ, мѣсяца „работы“. Завтра — пропадали у нея изъ запертаго комода часы или деньги, — жалкія крохи, которыя удавалось ей сберечь изъ подачекъ „на булавки“, — единственное, что доставалось

на ея долю отъ огромнаго ея заработка. Стоило Марьѣ Ивановнѣ, уходя изъ своей комнаты, оставить дверь не замкнутою на ключъ, чтобы, возвратясь, она уже непременно нашла либо постель свою испачканною какою-нибудь гадостью, либо омерзительный рисунокъ на стѣнѣ, либо безграмотную записку съ руганью и угрозами. Фраскита, изъ зависти, втянула Лусьеву въ есору и жестоко подбила ей глазъ — акkuratъ наканунѣ прїѣзда одного богатаго и щедраго „понта“, большого поклонника Марьи Ивановны.

На квартирахъ — у хозяекъ — жильцы, до сихъ поръ льстивые, подобострастные, сдѣлались наглы, грубили, а женщины подстрекали ихъ — показать Машкѣ-дворянкѣ, что не велика она фря и не честнѣе другихъ. Еще — къ большому счастью Марьи Ивановны, какъ-то выпала ей такая удачная полоса, что „работать“ приходилось больше въ „корпусѣ“, либо въ той квартирѣ, гдѣ проживала и вліятельна была дружелюбная Катерина Харитоновна: ея буйнаго нрава всѣ побаивались, не исключая даже самыхъ дерзкихъ и сильныхъ жильцовъ. Но въ другія квартиры Маша ѣхала — каждый разъ — полумертвая отъ страха, что не сегодня-завтра какой-нибудь Александръ Мясникъ либо Ванька Кривуля изнасилуетъ ее и обратить въ то невыносимо позорное, полное побоевъ и вымогательства, рабство, подъ игомъ котораго жили и изнемогали почти всѣ квартирные женщины.

Къ дополненію бѣдствій, на время, покуда Оедосья Гавриловна будетъ лежать въ больницѣ, Буластиха поручила быть за экономку пѣвунѣ Антонинѣ. Эта особа теперь, чувствуя себя силою, нестерпимо лѣзла къ Машѣ со своею противною влюбленностью и, не встрѣчая взаимности, неистовствовала, устраивала подлѣйшіе скандалы и каверзы и поминутно подводила Машу подъ хозяйкинъ гнѣвъ. Уже не разъ бѣдной дѣвушкѣ пришлось извѣдать горькимъ опытомъ, что тяжеловѣсныя ла-

дони Прасковьи Семеновны — не чета Оедосьинымъ, которыя били рѣдко и жалѣючи.

Антонина преслѣдовала Машу изъ-за отвергнутой влюбленности, нѣмки — по озлобленной ревности. Задыхаясь во враждебной, напряженной атмосферѣ ненависти, Маша жила въ постоянномъ трепетѣ, что ей прыснутъ въ лицо сѣрной кислотой; хитро подведутъ ей завѣдомо больного „понта“, подсунутъ зараженную ложку, полотенце, простыню; угостятъ ее папиросою съ опиумомъ или морфіемъ; вдунутъ ей, во время сна, черезъ ноздри, гусара съ сѣрою и нюхательнымъ табакомъ, отъ чего самыя надежныя легкія повреждаются и получаютъ чахотку; либо, наконецъ, просто отравятъ мышьякомъ или укусною эссенціею.

Буластихъ Маша не смѣла жаловаться, — это въ „домахъ“ не принято, какъ злѣйшее нарушеніе товарищества, влекущее за собою безпощадную месть. Да и — знала Маша — безъ поддержки и настоянія со стороны Оедосьи Гавриловны — Буластиха, жестокая, глумливая, цинически распутная по натурѣ, не защититъ ея, но еще сама надругается какимъ-нибудь гадкимъ, рабовладѣльческимъ издѣвательствомъ. Въ родѣ того, какъ заставила она проворовавшуюся Фіаметту съѣсть съ голыхъ ногъ ея два фунта зернистой икры.

„Княжна“, которой было жаль Маши, пробовала усовѣщать освирѣпѣвшихъ товарокъ, страдала:

— Сумасшедшія! Въ чью вы голову бьете? Вѣдь Оедосья не навѣкъ легла въ больницу. Встанетъ, — худо вамъ будетъ: рассчитается за Марью сторицею, сокомъ изъ васъ Марьины слезы выйдутъ...

Но озлобленіе было слишкомъ велико, спортъ мучительства слишкомъ заманчивъ. Возражали:

— Еще когда встанетъ, а мы до того времени изъ Машки твоей юшку повыдавимъ!

Впрочемъ, принимали мѣры, чтобы по возможности обезопасить себя и противъ этой угрозы. Бѣгали къ Ѳедосѣ Гавриловнѣ въ больницу и наущничали ей на Машу всевозможныя сплетни и клеветы. И, когда Маша, въ свою очередь, приходила провѣдать свою покровительницу, больная экономка встрѣчала ее градомъ ревливой, подозрительной ругани, попрекала ее мнимыми шашнями съ жилыцами, съ полицейскимъ, котораго сама же ей навязала, съ нѣкоторыми изъ гостей посимпатичнѣе и почеловѣчнѣе, дружбою съ Катериною Харитоновною, ухаживаніями Антонины, обвиняла въ развратѣ, предательствѣ, неблагодарности. Маша пугалась, плакала въ три ручья, разубѣждала, божилась...

Разставались помирившись, но ссоры были утомительно тяжелы, полны обидныхъ униженій, обвиненій неповторяемыхъ, словъ, отъ которыхъ стѣны краснѣли. Уходя изъ больницы, Маша сознавала себя предметомъ общихъ насмѣшекъ и презрѣнія, будто оплеванная взглядами больныхъ женщинъ, сидѣлокъ, фельдшерницъ, врачей. А главное, чувствовала разъ отъ разу внушительнѣе, что клеветы дѣйствуютъ, дружба трещить, и дорогою цѣною купленная, позорнѣйшимъ угодничествомъ обусловленная, послѣдняя опора ея уже не прочна, — почва колеблется подъ ногами. Маша съ ужасомъ предвидѣла: а вдругъ настанетъ день, когда Ѳедосья Гавриловна вовсе взбѣлится и станетъ не за нее, но противъ нея?

— Тогда — хоть прямо въ петлю голову!

LX.

А болѣзнь экономки, какъ нарочно, затягивалась. На почвѣ скверной, давно отравленной крови опредѣлилось какое-то серьезное осложненіе. Врачи рѣшили сдѣлать ампутацію ноги выше колѣна. Значить, возвращеніе Ѳедосьи Гавриловны

въ корпусъ опять не только затянулось надолго, но и, вообще, стало вопросомъ. Какъ-то она вынесетъ операцію? Да когда-то она оправится и привыкнетъ къ искусственной ногѣ — настолько, чтобы распорядительствовать сѣтью огромнаго дѣла, безжалостно торговаго и насквозь преступнаго, полного опасныхъ рисковъ, требующаго силы, энергіи, подвижности изворотливой и безстрашной готовности на какой угодно скандалъ и приключеніе, охраняемаго лишь ужасомъ къ могучему кулаку, незнакомому ни съ жалостью, ни удержемъ совѣсти?

Женщины Буластихи знали, что Ѳедосья Гавриловна связана съ дѣломъ слишкомъ большимъ количествомъ важныхъ секретовъ и вовсе удалить ее отъ себя хозяйка не въ состояніи, даже если бы захотѣла. Но найдется ли у нея, ослабѣвшей за болѣзнь, сразу постарѣвшей лѣтъ на десять, хромоногой, ковыляющей на деревяшкѣ, достаточно воли и прямо таки физической силы, чтобы воскресить престижъ прежней своей необходимости и остаться въ дѣлѣ первую послѣ самой Буластихи?

Вѣдь съ одною то ногой не очень то подступиться унимать и карать не то, что хамское грубіянство „жильца“, вродѣ Александра Мясника или Ваньки Кривули, но даже буйство спяну Люціи либо Катерины Харитоновны. Одинъ хорошій пинокъ ногой въ деревяшку, — и шлепнется Ѳедосья всѣмъ гигантскимъ тѣлицемъ своимъ навзничъ на паркетъ. Женщины зло-радно предвкушали прелесть будущихъ столкновеній и неумо-лимо точили ядовитые зубы на счетъ „красоточки-экономочки на деревяшкѣ.“

Да и сама Прасковья Семеновна была замѣтно озадачена возможностью столь страннаго украшенія для залъ „корпуса“, которыя, благодаря ея пріобрѣтеніямъ изъ ликвидированной Аделью рюлинской обстановки, приняли весьма шикарный видъ.

Отъ старинной мебели Буластиха отказалась: не для ея

публики. Гостинный Дворъ и Калашниковская Пристань любятъ, чтобы блестяло, — подавай „модернъ“ да самый свѣжій, подъ лакомъ, прямо изъ мастерской. За то скупила огуломъ картины, мраморъ, бронзу, ковры, *objets d'art*, — и Марья Ивановна съ Жозей и Люціей помогли хозяйкѣ устроить въ „корпусъ“ два-три рюлинскихъ уголка. Въ томъ числѣ и подобіе презлувутой гобеленовой комнаты для живыхъ картинъ.

Задумалась было Буластиха, не воскресить ли ей у себя эту забаву „мышиныхъ жеребчиковъ“, гордость и славу рюлинской фирмы, угасшую со смертью Полины Кондратьевны и отъѣздомъ Адели. Но и сама она была слишкомъ невѣжественна и дика, и въ служебномъ своемъ персоналѣ не имѣла никого, способнаго руководить постановкою, требующею, все-таки, нѣкотораго художественнаго вкуса и эстетическаго соображенія. Поклониться же о томъ своимъ кабальницамъ изъ образованныхъ бабъ запрещало самолюбіе. Казалось ей, что, поступишь она этакъ своимъ хозяйскимъ авторитетомъ то „Машка“, „Жозька“, „Княжна“, „Катерина“ зазнаются: мы де режиссерши! завѣдующія! — и перестанутъ слушаться, если не ея (этого Прасковья Семеновна, соображая энергію оплеухъ своихъ, даже и предполагать не хотѣла), то хозяекъ и экономокъ.

Къ тому же, охочая до живыхъ картинъ, аристократическая кліентура Рюлиной не послѣдовала за ея обстановкой: Преемницею Полины Кондратьевны оказалась, на новомъ мѣстѣ въ самомъ бойкомъ центрѣ города, франко-русская еврейка m-me Judith. Подъ маскою огромнаго и шикарнаго моднаго магазина, который своею работою и кредитомъ обслуживалъ весь петербургскій полусвѣтъ и не малую часть свѣта настоящаго, хитроумная парижанка изъ Бердичева преобразовала свой домъ свиданій въ „уголокъ Монмартра“ и, по новинкѣ, заторговала пуще Рюлиной. „Мышиные жеребчики“, золотые эксельбанты

и прочее, какъ выражалась Ѳедосѣя Гавриловна, „графѣе, князь да баронѣе“ хлынули подъ новую гостепріимную стѣну.

Такимъ образомъ, теперь со стѣнъ „корпуса“ опять глядѣли на Машу Леды, Пасифаи, Данаи и Іо, свидѣтельницы первыхъ шаговъ ея „просвѣщенія“ и паденія. Какъ ни странно, но, бродя среди нихъ, теперь даже не прикрываемыхъ сукномъ, по комнатамъ, какъ бы одушевленнымъ ласкою цинической, но хорошей живописи, Маша чувствовала какую то унылую отраду. Хоть и потаная, а, все-таки, молодость, — осколокъ чего то, все же лучшаго, чѣмъ нынѣшняя грязная неволя!

Пресловутый портретъ Жени Мюнхеновой тоже перекочевалъ къ Буластихѣ. Очевидно, культъ „красавицы изъ красавицъ“ угасъ вмѣстѣ съ торговымъ домомъ генеральши, и будущая мадамъ Монтраше почла для себя неприличнымъ сохранять реликвію, столь драгоцѣнною бывшую для мѣщанской дѣвицы Александры Степановой, она же Адель.

Марья Ивановна созерцала давно не любимый ею портретъ не безъ тайнаго, — пусть неумнаго, ребяческаго, но непобѣдимаго, — злорадства:

— Ага, Женичка! Хоть и на полотнѣ, а пожаловали таки къ намъ? Не можете выбраться изъ помойной ямы, какъ и мы, горемыки, и тоже не вверхъ плывете, а на дно тонете? Что наши „понты“ пропишутъ тебѣ, голубушка!

И, точно, не прошло и недѣли, какъ король питерскихъ безобразниковъ, милліонеръ-мучникъ и пряничникъ Кор-ловъ, истыкалъ злополучное полотно лже-Маковского зонтикомъ въ самыхъ неподобныхъ мѣстахъ. Приблизительно на половинѣ второй бутылки финь-шампань, онъ пришелъ къ убѣжденію, что онъ совсѣмъ не Кор-ловъ, но царевубійца Желябовъ, а потому обязанъ произвести террористическій актъ. И, за неимѣніемъ лучшаго объекта, обрушился на безглагольное и недвижимое изображеніе Жени Мюнхеновой:

— А, шкура, великокняжеская наложница! Ты нашу русскую кровь пить? лопать народныя деньги, добытыя трудовымъ потомъ мозолистыхъ рабочихъ рукъ? Врешь! Не допущу! Сокрушу! Вотъ тебѣ, польская стерва, — получай въ брюхо! Отъ сына своего отечества, — получай въ сиськи! Отъ внука вѣрноподданныхъ крестьянъ, освобожденныхъ манифестомъ великодушнаго монарха, отъ крѣпостной зависимости по манифесту 19 февраля, — получай во всѣ мѣста! Тапѣрь! Жарь „Боже, царя храни!“ А вы, дѣвки, всѣ — плакать!!!

За испорченный портретъ заплатилъ пять тысячъ. Артамону за то, что принесъ зонтикъ изъ передней, бросилъ сто рублей. Машѣ послалъ воздушный поцѣлуй и показалъ кукишъ. Ѳедосьѣ Гавриловнѣ, съ щедрымъ видомъ, сунулъ въ руку „на чай“... двугривенный!... Хитрая баба приняла съ благодарностью, словно Кор-ловъ ее озолотилъ. А потомъ привѣсила этотъ двугривенный брелокомъ на браслетъ и давай хвастать всѣмъ гостямъ изъ именитаго купечества.

— Не думайте де о моемъ двугривенномъ плохо: это — кор-ловское пожалованье!

Присрамился пряничникъ, пріѣхалъ выкупить язвительный брелокъ. Влетѣлъ кушцу двугривенный въ копеечку!

LXI.

Общее мнѣніе было, что Ѳедосьѣ теперь, оставшись объ одной ногѣ, никакъ не управиться, и министерству ея конецъ. Самое большое, если хозяйка отдастъ ей, какъ заслуженному инвалиду, подъ самостоятельный началъ, одну изъ хорошихъ, заработныхъ квартиръ гдѣ-нибудь на окраинахъ поглуше.

Марья Ивановна обмирала, когда слышала эти толки. Она знала, что Ѳедосья Гавриловна, въ такомъ случаѣ, не захочетъ

съ нею разстаться и сумѣть оставить ее за собою, а перспектива найти себѣ тюрьму въ какомъ-нибудь вертепѣ Васильевского Острова или Большого проспекта, подѣ властью искалѣченной, дикой, ревнивой, бѣшено-вспыльчивой, драчливой старухи приводила ее въ отчаяніе. Антонина же щеголяла бѣлымъ фартукомъ и звонила по дому ключами все съ большею и большею увѣренностью, благосклонность хозяйки къ ней возростала, и было уже почти несомнѣнно, что весьма скоро она замѣнитъ Оедосью Гавриловну не временно, но постоянно. И въ зловѣщемъ взглядѣ будущей экономки Марья Ивановна читала, что, какъ ни скверно было ей въ послѣднее время, но это еще — цвѣточки, а ягодки ждутъ впереди, и удовольствіе по-настоящему-то съ нея „шкуру спустить“ Антонина съ компаніей еще только предвкушаютъ.

Поэтому Марья Ивановна очень обрадовалась, когда хозяйка внезапно разрушила скопившійся вокругъ нея мракъ и ужасъ неожиданныхъ приказаніемъ ѣхать въ К. Оедосья Гавриловна зарычала было на Машинъ отъѣздъ раненою медвѣдицею, но, прикованная къ больничному одру, ничего не могла сдѣлать противъ рѣшительной хозяйкиной воли и только строила Машѣ на прощанье ужасную сцену. Сидѣлки и больныя — которыя хохотали, которыя негодовали и отплеывались, а Маша, уходя въ слезахъ, дала себѣ слово, что не придетъ больше навѣщать свирѣпую пріятельницу, развѣ что та уже завѣдомо умирать будетъ.

Вышло такъ, что это дѣйствительно было ихъ послѣднее свиданіе. Недѣлю спустя, Оедосья Гавриловна, превосходно выдержавъ удачно сдѣланную ампутацію и, по мнѣнію врачей, уже вступивъ на путь выздоровленія, вдругъ, съ чего-то залихорадила, залихорадила и въ два дня умерла отъ зараженія крови. Но Маша Лусьева тогда была уже далеко и ничего о томъ не знала.

Въ поѣздѣ злополучная дѣвушка очутилась подъ присмотромъ постоянной устроительницы поѣздовъ „Княжны“, по имени Анны Тихоновы. Эта женщина почему-то не влюбила Машу чуть ли не съ перваго же ея появленія въ буластовскомъ хозяйствѣ и оставалась упорнымъ врагомъ ея до настоящаго дня, когда „гастроли“ къ К. завершились скандальнымъ появленіемъ Лусьевой въ участкѣ.

Въ другое время Маша пришла бы въ ужасъ и великую скорбь, что придется ей путешествовать подъ суровымъ началомъ такой лютой вѣдмы. Но сейчасъ ужъ слишкомъ солона стала ей жизнь въ корпусѣ: рада хоть въ адъ, да — лишь бы отсюда.

Лусьева объясняла:

— Впрочемъ, я, вообще, и раньше тоже предпочитала ѣздить по городамъ, чѣмъ трепаться по петербургскимъ квартирамъ. Я уже рассказывала вамъ, какое это удовольствіе. Да еще, между квартирами этими, когда потомъ я съ ними со всѣми познакомилась, оказались такія, что страшно стало бывать... На одну, близъ Николаевского вокзала, дѣвушки, которыя, посуевѣрнѣе, наотрѣзъ отказывались ѣхать: — Хотите бейте, хоть до смерти убейте, — не могу... боюсь...

— Что же тамъ? Черти, что ли? Или привидѣнія ходятъ? — усмѣхаясь въ усы, спросилъ полицеймейстеръ.

— Нѣтъ, видѣть — никто ничего страшнаго не видалъ...

— Стуки?

— Н-н-н-нѣтъ... А впрочемъ, всѣ мы были такъ настроены, что — въ стѣнѣ ли щелкнетъ, мебель ли треснетъ, въ печкѣ ли загудитъ — всякій звукъ странный, въ этой квартирѣ уже мерещился намъ за чертовщину. Видите ли: я не знаю, что... но, бывало, едва войдешь, и вдругъ тебѣ какъ-то совсѣмъ дышать нечѣмъ, и тоска нападаетъ страшная, и все чего-то ждешь, ждешь... самаго жуткаго и сквернаго!... До ужаса, ажъ дро-

жать начинаешь... Вотъ-вотъ кто-то опасный войдетъ, вотъ-вотъ что-то роковое случится... Говорятъ, будто на этой квартирѣ, — дѣло было давно, еще до Буластихи, — „жилыцы“ уходили кулачищами купца, а какъ и куда потомъ его убрали, осталось неизвѣстно: все дѣло кануло въ воду, и слѣдствія не было... Ну, вотъ — наши трусики, разумѣется, и вѣрили, будто вся эта тягость отъ купца убитаго: что онъ живетъ и душитъ...

— Зачѣмъ же, — спросилъ Mathieu le beau, — Буластиха все-таки удерживала за собою такую странную квартиру?

— Мѣсто изстари насиженное. Въ ея профессіи этимъ условіемъ очень дорожать. На новыя квартиры многіе неохотно ѣдутъ...

— А „гости“ не жаловались?

— Гости ничего... Что же? Они были непредубѣжденные... заранѣе не готовились къ страхамъ этимъ, какъ мы всѣ несчастныя... А потомъ, — кто ихъ знаетъ, покойниковъ? Можетъ быть, онъ гостей не трогалъ... Вѣдь гости ему ничего не сдѣлали дурного, онъ самъ былъ тоже гость, когда его убили... А намъ, прочимъ, которыя при томъ же самомъ дѣлѣ, онъ мстилъ, показывалъ свою власть... Понимаете?

— Эге! Да вы, кажется, тоже изъ суетвѣрныхъ? — поддразнилъ Mathieu.

— Нѣтъ, не очень... Но, конечно, все-таки непріятно. Вотъ другой квартиры, въ Измайловскомъ полку, гдѣ наша дѣвушка удавилась, — этой я, сознаюсь, очень не любила... Все боялась, что увижу, какъ она виситъ на отдушникѣ...

„Гастрольные“ поѣздки устраивались всегда въ одинаковомъ порядкѣ. *) Выбирались изъ квартирныхъ хозяекъ или нанимались со стороны какая-нибудь приличнаго вида и зва-

*) Кузнецовъ, 27, Кочующую сводню „баронессу“ я нашелъ въ городской хроникѣ ростовскихъ газетъ 1902. г.

нія дуэнья, въ родѣ баронессы Ландіо, Маша объявлялась ея племянницею, а Ѳедосья Гавриловна или Анна Тихоновна — домоправительницей, эконошкой, няней, пожилою, искони въ фамиліи, горничною. Ъздили по частнымъ приглашеніямъ какой-либо провинціальной факторши или, непосредственно, искателя красивыхъ женщинъ: многимъ провиціальнымъ ловцамъ по этой части Буластова служила постоянною поставщицею, — и такъ именно попала Лусьева теперь въ К. Еще чаще њздили прямо на удачу — въ сборныя мѣста богатаго люда съ бѣшенными деньгами, которыя поютъ въ карманѣ пѣтухами, просясь на волю: въ Нижній, Ирбитъ, Харьковъ — на ярмарки, въ Кіевъ — на Контракты, на Кавказскія минеральныя воды, въ Баку, въ Москву на „Дѣрби“...

— Насчетъ ярмарокъ у насъ въ корпусѣ даже пѣсенку особую пѣли. Антонина на смѣхъ сложила. А, впрочемъ, можетъ быть, и врала, что она... чужое старое за свое новое выдавала.

Поѣхала хозяйюшка
Въ Ирбити торговать,
А съ ней четыре барышни —
Попить да погулять.
Пріѣхала хозяйюшка
Съ Ирбитя съ барышомъ,
А всѣ четыре барышни —
Чуть-чуть не нагишомъ.

— Бывало и такъ, что Буластихѣ просто доносятъ: въ такомъ-то городѣ или мѣстечкѣ люди страшно заскучали, развлеченій никакихъ нѣтъ, а шальные деньги водятся. Она, послѣ того, какъ наведетъ обстоятельныя справки, командуетъ сейчасъ же какую-нибудь госпожу разыгрывать комедію:

будто имѣніе подѣ городомъ тѣмъ торговать для пріобрѣтенія, либо придумаетъ другую аферу въ такомъ родѣ, — глядя по городу, какія тамъ могутъ быть дѣла и за что люди уважаютъ. Если городъ богатъ и тароватъ, поѣздка въ затыжку идетъ. Нанимается хорошая квартира, выписываются изъ Питера, по очереди, „племянницы“, „крестницы“, „воспитанницы“, „лектриссы“... я, Жоза, „Княжна“, другія тамъ... и пошло веселое житье, балы, пикники, вечеринки, покуда Ѳедосья и Анна Тихоновна не повыжмутъ бумажники у многоземельнаго дворянства и богатаго купечества! Мы на шахтахъ двѣ недѣли прожили — золотыя вернулись! Тоже, когда нефть была въ модѣ... на новый фонтанъ одинъ разъ ѣздили... На постройку желѣзныхъ дорогъ, покуда у инженеровъ доходы шальные. Жозька была специалистка насчетъ этой публики. Огонь! Выматывала инженерскіе бумажники, точно фокусникъ ленты изо рта. Въ Челябинскѣ два мѣсяца прогостили, всю строительную комиссію до гроша вычистили. Кути да радуйся, покуда люди не разорятся либо мы не прорвемся въ чемъ-нибудь ужъ очень прозрачно — общество начнетъ сомнѣваться и коситься, а полиція струсить и устанетъ насъ покрывать. Либо ужъ такими поборами обложить, что оставаться дальше окажется самымъ дороже. Ну, тогда, конечно, лови моментъ, чтобы вовремя наострить лыжи. И, разумѣется, это правда, что Антонина пѣла: хозяйка наживалась толсто, а мы, въ самомъ дѣлѣ, прокучивались чуть не до нагиша. Одна „Княжна“ могла похвалиться, что выдержку имѣетъ, — вещи берегла, капиталъ сколачивала. Меня, напримѣръ, каждая поѣздка только въ новые долги вводила. А все-таки поѣздки я, ничего, любила: хоть повеселишься, попрыгаешь... считаютъ тебя, все-таки, за порядочную, ухаживаютъ, флиртуютъ... опять чувствуешь себя барышнею, а не дѣвкою... А тамъ, въ Петербургѣ, въ корпусѣ, по квартирамъ — острогъ! могила!

Встрѣчаясь съ Катериною Харитоновною, Марья Лусьева неизмѣнно получала отъ нея саркастическіе запросы:

— Ну-съ? Когда же мы бѣжимъ? Или охота прошла? Стерпится-слубится?

— Да вѣдь я теперь, Катерина Харитоновна, все въ разѣздахъ.

— Въ разѣздахъ-то, милѣйшая моя, и удирать. Здѣсь у Буластихи и полиція своя; въ каждомъ участкѣ найдутся дружки, чрезъ которыхъ она васъ притиснетъ. А вотъ, я слышала, вы ѣдете въ К. Съ тамошнюю полиціей, — это я доподлинно знаю; — хозяйка связей еще не успѣла установить. Стало быть, прямикомъ противъ васъ дѣйствовать она не посмѣетъ. Не такое у нея дѣльце, знаете, чтобы передъ незнакомыми свѣтлыми пуговицами такъ вотъ сразу взять да всѣ карты открыть. Потому что въ неберущую полицію Буластиха, конечно, какъ и мы съ вами, не вѣрять. Но если сунутся наобумъ въ воду, не спросясь броду, то недолго налетѣтъ и на такого покровителя, который сообразить, что дѣльце-то пахнетъ карьерою. Ну, и подобный баринъ ей уже не въ тысячу, а въ десятки тысячъ обойдется... Не посмѣетъ она въ К. рисковать, покуда полиція не подкуплена. А это сразу не дѣлается. Это — какъ хроническая отравка. Для большихъ взятокъ тоже нужно накопить отношенія взаимнаго довѣрія, поруку осторожности, связаться временемъ въ общности позора... К. во всѣхъ этихъ отношеніяхъ для Буластихи городъ еще новый: вотъ и бѣгите изъ К.

— Если бы, — признавалась Марья Ивановна, — со мною была Оедосья Гавриловна, у меня, вѣроятно, все-таки не хватило бы энергіи поступить, какъ сейчасъ... Потому, что я ужасно боялась ея, а, кромѣ того, она всегда обращалась со мною очень

хорошо... то есть, по-своему хорошо, конечно: если я получала подарки, она не накладывала лапы на мои вещи, — напротив, случалось, что еще сама дарила... Ну, а я ужь такая: если человек меня не угнетает, то я против него бессильна, никогда не пойду резко ему наперекорь. Меня до бѣшенства довести надо, — вотъ, какъ Анна Тихоновна ухитрилась, — только тогда я гожусь на смѣлое... А то тряпка! Полы мною можно мыть! Пыль вытирать!

Съ Анною Тихоновною, въ теченіе поѣздки въ К., онѣ грызлись, начиная отъ самаго Петербурга. Суровый, придирчивый надзоръ въ поѣздкѣ и во время недѣльной остановки для „работы“ въ Москвѣ и общая система Анны Тихоновны держать Машу безъ гроша денегъ, выводили дѣвушку изъ себя. Она принялась грубить своей мучительницѣ, а та ее бить.

Въ К. онѣ направлялись по очень таинственному вызову. Здѣсь Лусьеву долженъ былъ встрѣтить богатѣйшій южный помѣщикъ, страстный любитель женщинъ, занимающій въ своихъ родныхъ мѣстахъ слишкомъ крупное и видное положеніе, чтобы развратничать открыто; къ тому же онѣ очень стыдятся своего физическаго безобразія и боятся родственниковъ, которые зорко слѣдятъ за нимъ, такъ какъ шибко охочи подвести стараго эротомана подъ опеку. Поэтому, когда онѣ затѣваетъ пожуровать жизнь въ свое удовольствіе, то пробирается *incognito* въ чужой городъ, гдѣ его меньше знаютъ. На этотъ разъ онѣ выбрали К., куда, по его заказу, должна была доставлена быть Марья Ивановна.

— Какъ фамилія этого господина? — спросилъ полицеймейстеръ.

Лусьева пожала плечами.

— Не знаю, впрочемъ, если бы и знала, то не сказала бы... Онѣ ничего дурного мнѣ не сдѣлалъ... За что я буду его компрометировать?

Полицеймейстеръ съ чиновникомъ особыхъ порученій переглянулись.

— Ну, что же? конечно, вы правы... — протянулъ Mathieu le beau, — мы вамъ сейчасъ не допросъ какой-нибудь чинимъ... бесѣдуемъ неофициально... пока его фамилія намъ не нужна...

Лусьева продолжала:

— Мнѣ было велѣно звать его Хрисанфомъ Ивановичемъ... Онъ одноглазый и лысъ, какъ бильярдный шаръ...

— Нѣтъ у насъ такого... — проворчалъ полицеймейстеръ. — Спрошу по командѣ, кто изъ пріѣзжихъ... должны знать!..

Женщины прибыли въ К. раньше, чѣмъ Хрисанфъ Ивановичъ. Онъ телеграфировалъ, что задержанъ на нѣсколько дней дѣлами, и просилъ ждать, съ расходами за его счетъ. Вотъ почему Марья Ивановна зажила въ городѣ и, появляясь съ баронессою Ландіо въ общественныхъ мѣстахъ, успѣла завязать нѣсколько знакомствъ.

— Такъ вотъ я и васъ встрѣтила.

Mathieu le beau галантно поклонился.

Знакомствамъ Анна Тихоновна, разумѣется, не препятствовала, рассчитывая, что, по отъѣздѣ Хрисанфа Ивановича, пустить Лусьеву въ городѣ по рукамъ. Но ссоры и грызня съ дѣвушкою не прекращались.

— Особенно она меня „Княжною“ допекала: понимаете, что я ей меньше доходна, чѣмъ „Княжна“, не стоитъ со мною и ѣздить, никто мною не интересуется, не умѣю я деньги добывать... Слушаешь, слушаешь это пиленье день-деньской, ну, и не сдержишься... взорветъ наконецъ!.. Согласитесь: есть же и у меня свое самолюбіе!.. Всякая подлая тварь въ лицо хаять станетъ!... И еще обысками она меня измучила. Откуда бы мы съ баронессою ни возвратились въ номеръ, сейчасъ же начинается шарить по карманамъ, въ чулки заглянетъ, корсетъ

снять велить... это, понимаете ли, все провѣряеть, не работаю ли я стороною на самое себя, да не прячу ли подарки, либо денегъ!.. Прямо вамъ говорю: бѣлые огни зажигались у меня въ глазахъ отъ этихъ обысковъ мерзкихъ! Кабы ножъ близко, такъ бы ихватила по горлу либо ее, либо себя!.. Никогда никто такой подлости надо мною себѣ не позволялъ!.. Ужъ не говорю про рюлинское время, никто... ни Ѳедосья Гавриловна, ни сама Буластиха... никто! И вѣдь надобности никакой нѣтъ, и увѣрена она во мнѣ очень хорошо, и знаю, что это она нарочно, со зла, чтобы оскорбить меня лишній разъ, власть свою надо мною показать!.. Въ Петербургѣ пальцемъ тронуть не смѣетъ, такъ зато въ поѣздкѣ измывается. Вотъ-де — твоей заступницы здѣсь нѣту, такъ я съ себя спесь-то собою: что хочу, то съ тобою и дѣлаю!.. Онѣ съ Ѳедосьею-то Гавриловною соперничаютъ, кто сильнѣе у Буластихи, и, какъ водится, на ножкахъ... Ну, если такъ, то тутъ ужъ и я на нее вызвѣрилась. — Ты дѣлаешь со мною, что хочешь, такъ и я сдѣлаю, что хочу!.. И уже окончательно рѣшила бѣжать здѣсь, какъ Катерина Харитоновна, „Княжна“ и Адель совѣтовали... бѣжать непременно...

— Погодите-ка, а то забуду спросить, — перебилъ полицеймейстеръ, — какъ вы паспортъ добыли изъ конторы? Тамъ никто не помнитъ, когда вы его получили.

Марья Лусьева вспыхнула, потупилась. Потомъ подняла голову съ наглымъ вызовомъ.

— Очень просто: для меня его выкралъ номерной... Васильемъ звать. Красивый малый...

— Вы его просили?

— Да, просила.

— Не удивился онъ, что вы такъ таинственны?

— Я заплатила ему...

— Позвольте. Да вы же только что сейчас жаловались, что у васъ ни копейки денегъ не было?

Марья Лусьева взглянула на полицеймейстеръ страшно мрачно и упавшимъ вялымъ голосомъ произнесла:

— Будто только деньгами платять...

— Гм...

— Зачѣмъ, однако, вамъ такъ понадобился вашъ паспортъ? — вмѣшался Mathieu. — Вѣдь вы, дѣйствительно, могли, когда угодно, вытребовать его черезъ полицію.

— Я боялась, что онѣ съ нимъ сдѣлають что-нибудь такое, что полиція должна будетъ принять ихъ сторону... Или просто уничтожать документъ, а потомъ скажутъ, что я — не я, и я останусь безъ вида, какъ бродяга...

— Такъ-съ. Далѣе?

Хрисанфъ Ивановичъ пріѣхалъ. Назначено было, что онъ встрѣтится съ Лусьевою въ театрѣ, а затѣмъ увезетъ ее къ себѣ. Все такъ и сдѣлалось. Блудливый Крезъ остановился не въ гостиницѣ, но у какой-то своей знакомой дамы, на частной квартирѣ. Фамилію Лусьева опять не могла сказать, а мѣстность опредѣлила глухо.

— Я города не знаю... Ночь... Очень недурное помѣщеніе...

— Недурныя помѣщенія у насъ на перечеть... — пожавъ плечами, подивился полицеймейстеръ. — Странно! Ну-съ... для насъ вотъ эта часть вашей исторіи интереснѣе всего...

— Ночью я пила много вина, а когда пью, дѣлаюсь злая. На прощанье утромъ Хрисанфъ Ивановичъ подарилъ мнѣ лично двѣсти рублей. Я спрятала ихъ за перчатку, на лѣвую руку. Ёду домой, въ головѣ шумить, но веселая: радуюсь, какъ это ловко подошло, — если убѣгу, то даже и деньги есть перебиться на первое время!.. Но, едва я вошла въ номеръ, Анна Тихонова такъ и прыгнула ко мнѣ, какъ кошка...

„— Показывай, сколько!

„— Чего вамъ? У меня ничего нѣтъ...

„— Что-о-о-о? Врешь, голубка! Не надуешь! Другихъ морочь: отъ Хрисанфа-то Ивановича безъ подарка? Щедрѣ барина въ Россіи нѣту. Честью тебѣ говорю: вынимай, сколько?

„— Ничего не далъ, ни гроша...

„— Сколько, дрянъ?!

„— Сама такая!

„Она такъ ракетой и взвилась.

„— Разговаривать? Ты разговаривать?!

„Бацъ!..

„— А это что?

„Схватила меня за руку... Насѣли вдвоемъ съ баронессою, отняли деньги... Однако, покуда мы возимся и ругаемся, вдругъ стучать къ намъ въ дверь, просятъ: — Нельзя ли потише, обижаются сосѣди... Баронесса выглянула въ коридоръ, извинилась... А я взглянула — замѣтила, что она потомъ дверь на ключъ не заперла, только притворила... А Анна Тихоновна, багровая, предо мною стоитъ, губы у нея трясутся, шипить:

„— Я тебѣ, сударка моя, себя теперь покажу! я тебя пропишу, голубка!..

„И рукава кофточки закатываетъ за локти... палачествовать!.. Разохотилась... Меня ужасъ объялъ: не выйду живою, забьетъ!.. Говорю ей, языкъ едва ворочается, — бормочу:

„— Троньте только... ну, вотъ троньте!.. Я на весь городъ кричать буду!..

„А она тоже суконнымъ языкомъ на меня лопочеть:

„— Я те, я те, я те...

„Пошла къ умывальнику, носовой платокъ намочила, жгутомъ крутить: я уже понимаю, зачѣмъ, — ротъ мнѣ заткнуть хочеть...

„— Это, шепчу, — вы напрасно... оставьте, Анна Тихоновна! Тиранствовать нельзя. Я не дамся!..

„А она на меня даже и не глядит уже, только сказала баронессѣ:

„— Ты, сударыня, чего зѣваешь? Запри дверь покрѣпче...

„Та рохля, на мое счастье, старая, изъ робкихъ: руки у нея трясутся, ключъ въ скважинѣ застрялъ, не поворачивается, хотѣла поправить, вовсе на полъ уронила... Ахъ, ахъ!.. ахаетъ, вздыхаетъ, подслѣпая, ползаетъ по ковру... Я вдругъ — точно ослѣпало: какъ рванусь, да черезъ нее!.. Коридоръ, лѣстницу пролетѣла вихремъ... Какъ ошибло меня свѣжимъ воздухомъ, тутъ только очнулась: жива!.. Ну, и вотъ я здѣсь... Дальше вы знаете...“.

LXIII.

Долго длилось молчаніе, во время котораго Лусьева сидѣла, низко опустивъ голову на грудь. Она, кажется, плакала и не хотѣла выдать своихъ слезъ.

— Такъ-съ... — нарушилъ затишье полицеймейстеръ. — Одиссея эта ваша, можно сказать, весьма многозначительная. Что же, Матвѣй Ильичъ? Вѣдь надобно запротоколить по формѣ... тутъ вонъ какія дѣла открываются...

— Н-да-а... — сказала Mathieu le beau. — И къ прокурору отнести немедленно... Вамъ, сударыня, сдѣланъ будетъ допросъ по формѣ, а затѣмъ, вѣроятно, вы должны будете повторить ваши показанія передъ судебною властью.

Лусьева сердито отозвалась:

— Хоть передъ китайскимъ богдыханомъ.

Въ сосѣдней комнатѣ задребезжалъ звонокъ телефона. Въ

дверь просунулась голова озабоченного дежурного полицейскаго чина.

— Его превосходительство господинъ начальникъ губерніи просятъ ваше высокоблагородіе къ телефону.

Полициеймейстеръ вышелъ. Mathieu le beau и Марья Лусьева остались въ неловкомъ, натянутомъ молчаніи. Чиновникъ рисовалъ перомъ на лежавшемъ передъ нимъ синемъ дѣлѣ фигурки чертей и профили женщинъ. Лусьева смотрѣла на него почему-то съ невыразимою ненавистью.

— Ска-а-а-жите, пожалуйста, — началъ было Mathieu, — вы въ Петербургѣ не знали моего друга Сержа Филейкина?

— Не помню, — получилъ онъ сухой отвѣтъ.

— Я больше потому спрашиваю, что онъ по части женщинъ большая ска-а-а-атина...

— Мало ли ска-а-атинъ!... — въ тонъ ему, злобно протянула Марья Ивановна.

— Матвѣй Ильичъ! пожалуйста-ка сюда! — позвалъ полицеймейстеръ.

— Казуснѣйшая штука, батенька вы мой! — зашепталъ онъ. — Самъ чортъ не разберетъ: не то дѣло наклеывается, не то мистификація... Знаете ли, кто сейчасъ сидитъ въ кабинетѣ его превосходительства? Тетушка дѣвы этой самой... баронесса Ландіо!..

— Да ну? — изумился чиновникъ. — Позвольте: она же уѣхала въ Одессу...

— Стало быть, не доѣхала... возвратилась!.. И съ нею Леневская.

— Софья Игнатьевна?

— Да. Его превосходительство приказываетъ, чтобы дѣвицу Лусьеву немедленно отвезти къ Леневской, а завтра онъ самъ ее увидитъ...

— Гмъ... А какъ же съ прокурорскимъ надзоромъ... Можетъ выйти непріятность... Знаете, какъ они щепетильны...

— Я позволилъ себѣ намекнуть... — Они засмѣялись, говорятъ, что знаютъ, и прокурорскому надзору нечего тутъ вмѣшиваться... Если надо будетъ, говорятъ, я самъ перетолкую... Тутъ, говорятъ, огромнѣйшее и глупѣйшее недоразумѣніе...

— Странно!

— Странно!

Оба потаранили другъ на друга глаза, пожевали губами.

— Распоряженіе вышло, не наше дѣло разсуждать!.. — рѣшилъ полицеймейстеръ и, возвратясь къ Лусьевой, объявилъ ей волю губернатора.

— Кто такая ваша Леневская? — нахмуясь, спросила дѣвушка.

— Софья Игнатьевна Леневская — почтеннѣйшая дама въ городѣ, прекраснѣйшая особа, первая наша дама-патронесса... безсчетно много добра дѣлаетъ!.. Его превосходительство желаетъ, чтобы до свиданія съ нимъ вы остались какъ бы подъ ея охраною.

Марья Лусьева сдвинула брови еще суровѣе. Въ глазахъ ея забѣгали опасные, враждебные огоньки.

— Я не поѣду! — мрачно оторвала она.

— То есть какъ это не поѣдете? — озадачился и озвѣрился полицеймейстеръ.

— Не поѣду!

— Но если начальникъ губерніи...

— Не поѣду! — истерически завизжала дѣвушка. — Не поѣду! Тащите силою, а по доброй волѣ не пойду! И всю дорогу буду кричать...

Полицеймейстеръ выкатилъ глаза и разинулъ было ротъ, чтобы гаркнуть, но Mathieu вмѣшался.

— Позвольте, mademoiselle, позвольте... зачѣмъ горя-

читься? — примирительно и учтиво заговорилъ онъ. — Никто нигуда силою васъ не потащить... Вопросъ только о томъ, гдѣ устроить васъ до завтра... Его превосходительство желаетъ лично вникнуть въ ваше дѣло...

— Не поѣду! — вопіяла Лусьева.

— Но иначе намъ васъ дѣвать некуда!.. — разсердился теперь и Mathieu. — Не въ участкѣ же вамъ ночевать!

— Я готова, если надо, ночевать въ участкѣ!.. А въ чужой домъ, къ незнакомой какой-то дамѣ не поѣду... Ишь что придумали!.. Нѣтъ, не на дуру напали! Знаю, что это значитъ, куда вы меня приглашаете!..

— Что вы воображаете? — рывкнулъ — не вытерпѣлъ полицеймейстеръ. — Какъ вы смѣете? Передъ вами, сударыня, люди официальные!

— Тигрій Львовичъ! Тигрій Львовичъ!

— Да что Тигрій Львовичъ? Терпѣнія, сударь мой, нѣтъ...

— Не поѣду! — крѣпко кусая губы, ломая пальцы, твердила дѣвушка, съ тупымъ, неподвижнымъ взглядомъ, сосредоточеннымъ на спинкѣ стула. — Хитры! Леновскую какую-то сочинили!.. Говорили бы прямо, что вамъ велѣно отвезти меня въ сумасшедшій домъ!..*)

Полицеймейстеръ и чиновникъ особыхъ порученій обмѣнялись многозначительными взглядами.

— Гмъ... ларчикъ просто открывается!.. — пробормоталъ про себя Mathieu.

— Послушайте! Честью я вамъ клянусь, что ошибаетесь!.. — горячо заговорилъ онъ вслухъ. — Съ какой стати? Помилуйте! Намъ и въ голову не приходило...

*) *Parent Duchatelet.* См. „Отъ автора“—къ этому изданію „Марьи Лусьевой“.

Полицеймейстеръ, безпомощно разведя руками, снова прошелъ къ телефону.

— Кто говорить? а? что? Громче! А? — отозвался ему знакомый начальнический теноръ. — Бойтся? Чего бойтся?.. А?.. Что въ сумасшедшій домъ?.. Ха-ха-ха! Вотъ чудачка!.. Да-да-да... Однако, это любопытно, что вы говорите... Да-да-да-да-да... Это подтвержд-да-еть...

— Куда же прикажете устроить ее, ваше превосходительство? — возопилъ съ отчаяніемъ полицеймейстеръ: возня съ Марьей Лусьевой надоѣла ему, что называется, „до шпенту“.

— Ну... помѣстите ее въ какомъ-нибудь приличномъ отелѣ!.. Да-да-да... Разумѣется, въ отелѣ!.. Адресъ сообщите Софѣ Игнатьевнѣ... Она такъ добра, желаетъ заѣхать... Ну, и маленькій надзоръ... на всякій случай...

Телефонъ замолкъ.

Помѣститься въ отелѣ Марья Лусьева согласилась сразу и съ радостью.

— Въ отель я не боюсь... Только не въ „Фениксъ“... мнѣ стыдно...

— Въ „Золотомъ Оленѣ“ можно... Вы ужъ, Матвѣй Ильичъ, будьте добренькій — оборудуйте это, а я — къ его превосходительству...

— Очень радъ.

Какъ скоро Марья Ивановна оказалась на новосельи, въ коридорѣ гостиницы появился неизвѣстнаго званія и полупочтенной наружности господинъ. Онъ много шутилъ съ прислугою, повидимому, давно и отлично его знавшею, очень интересовался электрическимъ освѣщеніемъ, внимательно и подробно, разъ по десяти, изучалъ желѣзнодорожныя расписанія на стѣнахъ, театральныя афиши и торговыя рекламы, и ни на минуту не выпускалъ изъ поля зрѣнія дверь въ номеръ Марьи Лусьевой.

— Я прямо и откровенно говорю вамъ, генераль: не въ службу, а въ дружбу!

— Уважаемая Софья Игнатьевна, вы знаете, что я всегда заранѣе готовъ сдѣлать для васъ все, что отъ меня зависитъ. Но дѣло, о которомъ вы просите, принадлежитъ къ разряду тѣхъ, что либо гаснуть сами собою, безъ всякихъ просьбъ, либо должны горѣть, и уже никакія просьбы потушить ихъ не въ состояніи. Ваша несчастная кузина...

— Племянница, — поправила губернатора Софья Игнатьевна Леневская, видная дама въ сѣдыхъ кудряхъ, съ острыми и внимательными голубыми глазами. — Двоюродная племянница. Она дочь бѣдной Зины Лусьевой, а матери — моя и Зины — были родныя сестры. *Entre nous soit dit*, выходя за этого Лусьева, Зина сдѣлала глупѣйшій *mesalliance*. И вотъ — результаты!

— Такъ вотъ-съ, — виновать, — племянница ваша натворила и наговорила самыхъ безумныхъ и фантастическихъ глупостей. Да-да-да-да-да! Хорошо-съ! То есть очень скверно-съ! Нашъ милѣйшій Тигрій Львовичъ былъ настолько остроуменъ, что не оформилъ дѣла сразу. Его слѣдовало бы хорошенько распечь за упущеніе, но — побѣдителей не судятъ, а послѣ вашихъ откровеній вчера и сегодня онъ, разумѣется, оказывается нечаяннымъ побѣдителемъ... Скажите, пожалуйста: какъ давно это сдѣлалось съ нею?

— Уже лѣтъ пять. Она стала заговариваться послѣ ужасной смерти своего отца: онъ погибъ подъ трамваемъ. А потомъ подоспѣла неудачная любовная исторія... ея женихъ оказался большимъ негодяемъ... *Un faux pas... comprenez vous?* Она... вы, Порфирій Сергѣевичъ, конечно, поймете, какъ мнѣ тяжело входить въ подробности: вѣдь, хотя и дальняя, Маша мнѣ, все-таки, родственница...

— Да-да-да-да! Еще бы, еще бы!

— Фамильный позоръ!

— Кому пріятно?

— Она... опасаясь послѣдствій... приняла какія-то мѣры... очень неудачно.. Ну, послѣ того уже совсѣмъ!...

— И часто на нее находить?

Леневская опустила глаза.

— Каждый мѣсяцъ.

— Ага!

Губернаторъ побарабанилъ пальцами по столу.

— Какъ же это, зная за нею такое, ваша курица-баронесса не доглядѣла ее, пустила шальную бѣгать по городу?

— Ужъ именно курица! — съ добродушнымъ и веселымъ гнѣвомъ согласилась Леневская. — Именно курицею хохлатою прилетѣла она ко мнѣ въ усадьбу!.. Я сперва понять ничего не могла, едва узнала ее въ лицо: вѣдь мы не видались десять лѣтъ... Спасите, защитите, Маша, сумасшедшій домъ, участокъ... Что же это такое? Сумбуръ! Хаосъ!.. Клохчетъ, руками машетъ, слезы... Всю ее дергаетъ... *Mon opinion est que* — у нея самой голова не слишкомъ въ порядкѣ!

Губернаторъ кашлянулъ съ легкимъ конфузомъ и сказалъ:

— Да-да-да-да! Я, конечно, не смѣю утверждать, но на меня она произвела впечатлѣніе... гмъ... какъ бы это поделитиѣ о прекрасномъ полѣ?... гмъ... она, грѣхомъ, не поклоняется ли Бахусу?

Софья Игнатьевна утвердительно опустила вѣки.

— Эфиръ и одеколонъ... — прошептала она, конфиденціально вытягивая губы трубочкою.

— Ага! Какъ англичанки? Да-да-да-да! Ага!

— Несчастная слабость. Ахъ, тоже печальная ея была жизнь!.. Еще съ института.

— Она гдѣ теперь? у васъ?

— Да. Лежить совсѣмъ больная. Плачетъ въ три ручья. Такъ ее исторія эта разбила, такъ потрясла...

— Еще бы, еще бы! Очень понятно. Да-да-да-да! И такъ, добрѣйшая Софья Игнатьевна, я продолжаю. Официально, — а ни во что неофициальное мы входить не имѣемъ основанія, — дѣло вашей бѣдной племянницы обстоитъ такъ. Госпожа Лусьева явилась въ участокъ съ извѣстнымъ вамъ, компрометирующимъ ее, требованіемъ. Въ виду необыкновенности заявленія, она была подвергнута медицинскому изслѣдованію. Врачъ нашелъ ее нормальною...

— Но не специалистъ, *excellence*! Онъ не специалистъ!

— Такъ точно. Обыкновенный полицейскій врачъ, котораго наукѣ и мнѣнію, разумѣется, грошъ цѣна! Затѣмъ, въ продолжительномъ разговорѣ съ полицеймейстеромъ и моимъ чиновникомъ, госпожа Лусьева сдѣлала рядъ разоблаченій, которыя, если бы она была въ своемъ умѣ, были бы чрезвычайно важны. Разговоръ этотъ, однако, остался частнымъ, не оформленнымъ въ дознаніе. Тѣмъ временемъ мы узнаемъ отъ васъ, что имѣемъ дѣло съ сумасшедшею фантазеркою, въ чемъ я, конечно, ни мало не сомнѣваюсь. Но тѣмъ не менѣе, — прошу васъ, очень понять, — непровѣреннымъ факта этого я все-таки оставить не могу и не въ правѣ. Да-да-да-да! Полицейское дознаніе должно быть произведено.

Леневская насторожилась.

— Вы, ради Бога, не пугайте меня страшными словами. Я женщина, формъ вашихъ не знаю и боюсь. Что вы подразумеваете подъ вашимъ „полицейскимъ дознаніемъ“?

— Да, вотъ, — покуда мы съ вами тутъ бесѣдуемъ, въ эту самую минуту съ вашей племянницы снимаютъ допросъ...

Леневская сострадательно вздохнула съ спокойнымъ видомъ.

— Бѣдная дѣвочка! Воображаю, какъ она мучится и тре-

пещеть!.. Когда я была у нея вчера вечеромъ, она просто зубомъ на зубъ не попадала, — такъ дрожала, отъ страха, стыда, волненія! „Что, тетя, со мною было? Что я надѣлала?..“ Я битыхъ три часа провела съ нею — до поздней ночи... все успокаивала!

— А къ вамъ поѣхать все-таки не согласилась?

Леневская снисходительно улыбнулась.

— Ни за что! Знаете: припадокъ утихаетъ, но не совсѣмъ еще прошелъ... Сознаніе борется съ обманомъ чувствъ. Она долго не хотѣла меня узнать, притворилась, что даже имени моего никогда раньше не слыхала, насилу вспомнила, кто я такая, и даже послѣ того, какъ согласилась меня принять, какъ друга, потомъ еще раза три обзывала меня разными чужими именами... Ну, я предпочла не настаивать. Баронесса предупредила меня, что ее не слѣдуетъ раздражать, когда она въ такомъ состояніи. Вѣдь именно съ того и начинаются ея припадки: кто-нибудь разсердить, и пошла писать. Если бы не эта глупая Анна Тихоновна, которая набросилась на нее поутру съ выговоромъ и воркотнею, то, вѣроятно, не случилось бы вчерашняго скандала. А съ другой стороны, надо и Анну извинить: старая нянька, на рукахъ ее выносила, любить свою барышню безъ памяти... и вдругъ барышня является неизвестно откуда раннимъ утромъ, дикая, дерзкая, какъ будто не совсѣмъ трезвая!..

— Да, вотъ это еще, Софья Игнатьевна: оно не выяснено и остается немножко непонятнымъ...

— Что, генераль?

— Какъ ваши старушки не обезпокоились, когда госпожа Лусьева сбѣжала отъ баронессы изъ театра и пропала на цѣлую ночь?

Леневская сдѣлала удивленные глаза:

— *Mon général!* О чемъ же могли онѣ безпокоиться?

Маша сказала имъ, что ѣдетъ ночевать къ своей подругѣ, m-ле Карговичъ... Онѣ въ Петербургѣ учились вмѣстѣ — одного выпуска по гимназіи...

— А-га-га!

— Я знаю барышню: она премиленькая... восточное что-то въ типѣ... Отецъ ея, говорятъ, ростовщикъ или кто-то еще хуже, но согласитесь: за грѣхи родителей нельзя же отвергать дѣтей...

— Конечно, конечно... Значить, у Карговичъ она и ночевала?

— Ну, да!.. Тамъ тоже теперь страшный переполохъ, потому что только теперь узнали... Она съ вечера была совсѣмъ нормальная, это, очевидно, уже къ утру съ нею началось. Затосковала, вскочила съ постели ни свѣтъ, ни заря и умчалась домой...

— Такъ, такъ.

— Ну, и вотъ: влетѣла бурей, грозить, дерется, кричить, произносить слова, о которыхъ даже не подозрѣвали, что она такія знаетъ!.. бѣжитъ на улицу, въ участокъ!.. Ну, вы знаете, что для людей стараго вѣка значить полиція!.. Страшнѣе землетрясенія. Старухи мои совсѣмъ струсили, всякую память потеряли... Хорошо еще, что вспомнили о моемъ здѣсь существованіи, и баронесса нашла меня въ усадьбѣ... Иначе онѣ, съ перепуга, и впрямь домчались бы до Одессы!..

— А тамъ бы ихъ и цапъ! — засмѣялся губернаторъ. — Потому что отправлена телеграмма о задержаніи. Да-да-да-да. Смѣялась и Леневская.

— А тамъ бы ихъ и цапъ! И на вашей душѣ былъ бы грѣхъ, потому что мои трусики непременно умерли бы отъ страха!

— Скажите, пожалуйста: кто ее лѣчилъ въ Петербургѣ? Леневская подняла брови въ недоумѣніи.

— Хоть убейте, не вспомню... Надо справиться у баронессы: у нея отъ него медицинское свидѣтельство есть и рекомендаціи къ южнымъ врачамъ... Кнабенвурстъ?.. Газеншмидтъ?.. Нѣтъ! Потеряла фамилію: нѣмецъ какой-то извѣстный.

— Да-да-да-да! Престранная, однако, у нея форма помѣшательства! И откуда она все это знаетъ и съ такою обстоятельностью? Мнѣ Матвѣй Ильичъ передалъ: въ такой говорить, послѣдовательности и съ такими подробностями... Просто, говорить, — хотя мы и мужчины, но, — извините ужъ, Софья Игнатьевна, — даже и нашему брату грѣшнику кое-какія новости открыла... Какъ это — у нея? Гдѣ могла взять примѣры?

Леневская досадливо отмахнулась рукою.

— Милѣйшихъ тетюшекъ благодарить надо! Филантропки умнѣйшія!

— Боже мой! — пошутилъ губернаторъ, — не живемъ ли мы въ послѣднія времена? Софья Игнатьевна, королева филантропокъ, — и вдругъ — противъ филантропіи!

— Позвольте, позвольте, *mon général*... Я сама филантропка, но все въ мѣру: я возмущаюсь экзальтаціей... Я тоже охотно покровительствую всѣмъ этимъ... падшимъ, помогаю имъ, чѣмъ могу, когда онѣ раскаиваются, но брать *pénitentes* къ себѣ въ домъ на попеченіе или прислугою, какъ дѣлала покойная кузина Рюлина, но допускать ихъ къ общенію съ семьей, — нѣтъ! извините, Порфирій Сергѣевичъ! для этого я не имѣю довольно гражданскаго мужества!.. У меня дочери! Ихъ чувства чисты, ихъ мысли невинны, а вотъ вамъ образецъ, какой развратъ могутъ ятихомолку влить подобныя госпожи въ умъ дѣвушки... Я, конечно, далеко отъ того, чтобы приписывать этому все помѣшательство Маши, но не сомнѣваюсь, что, при другихъ условіяхъ, оно было бы менѣе... эротическое!..

— Кстати, — остановилъ ее губернаторъ, — вы не думаете посоветоваться о ней съ здѣшними врачами? Вѣдь у насъ два недурныхъ психіатра... Къ Тигульскому больныхъ привозятъ со всей Россіи...

Леневская остро взглянула на генерала.

— По вашему тону, — сказала она, — я заключаю, что оно будетъ нелишнимъ?

Губернаторъ пожалъ плечами.

— Да, пожалуй!.. — возразилъ онъ, — оправдательный документъ въ дѣлѣ никогда не вредить.

Леневская отвѣчала:

— Консультациі врачей, откровенно вамъ скажу, я очень не хотѣла бы. Во-первыхъ, оба наши психіатра между собою на ножахъ, и когда одинъ говорить: бѣлое, другой считаетъ своимъ непремѣннымъ долгомъ спорить: нѣтъ, черное! Они только перепугаютъ мою бѣдную Машу у смутятъ баронессу... А затѣмъ: я отдаю справедливость ихъ знаніямъ, но какой же авторитетъ могутъ они имѣть послѣ столичныхъ знаменитостей? Машу свѣтила лѣчили!.. Ихъ можно запросить...

— Да-да-да-да!.. Вы скажите баронессѣ, чтобы она представила мнѣ медицинское свидѣтельство, о которомъ вы говорили. Мы, можетъ быть, дѣйствительно, запросимъ врача по телеграфу, — для несокрушимой прочности нашихъ оплотовъ, знаете ли!.. А съ здѣшними врачами, все-таки, посоветуйтесь: видите ли, оно намъ важно, что — послѣ факта и мѣстные. Не надо ничѣмъ пренебрегать. Вамъ же, для общественнаго мнѣнія, противъ сплетенъ полезно... Скандалъ это во всякомъ случаѣ большой, и его въ мѣшокъ не сразу спрячешь... Консультациа, пожалуй, что — ужъ чересчуръ. Довольно, если пригласите Тигульского. Онъ, хотя великій дипломатъ и, говорятъ, охотникъ даже взяточники побирать, но — не пойманъ, не воръ, а въ своей специальности онъ магъ и волшебникъ...

— Очень хорошо, — съ радостью согласилась Леневская, — я сейчас же... А фамилію доктора, который лѣчилъ Машу въ Петербургѣ, я вспомнила... то есть, вспомнила, что она у меня отмѣчена въ записной книжкѣ: баронесса такъ его расхвалила, что я на всякій случай... позвольте... позвольте... нѣтъ, то зубной элексиръ!... нашла: вотъ... Карлъ Атанасовичъ Либесвортъ, Невскій, 666...

— Прекрасно-съ, мы, въ случаѣ надобности, съ нимъ снесемся.

Леневская встала.

— Такъ что, *général*, если припадокъ моей бѣдной племянницы уже кончился, и она дала вашимъ чиновникамъ разумные отвѣты, не рассказывая никакихъ страшныхъ романовъ...

— То дѣло ограничится вопросомъ объ офиціально заявленномъ ею требованіи быть записанною въ разрядъ извѣстныхъ женщинъ. А это требованіе мы отклонимъ — на основаніи предъявленнаго намъ медицинскаго свидѣтельства о психической ненормальности и за вашимъ поручительствомъ.

— А если припадокъ еще владѣетъ ею, и она опять наговоритъ Богъ знаетъ чего?

— Тогда неприятно. Дѣло придется передать судебной власти.

— На основаніи показанія сумасшедшей?!

— Мы не имѣемъ права дѣлать самостоятельныхъ заключеній объ ея сумасшествіи. Установить, что она не въ своемъ умѣ, будетъ дѣломъ слѣдствія и экспертизы.

— Но, Боже мой! Что значить, — судъ?!

— Нѣтъ, какой же судъ? Только слѣдствіе. Разъ будетъ выясненъ фактъ сумасшествія, дѣло прекратится производствомъ.

— Но, какъ бы то ни было, огласка и волокита?!

— Что дѣлать?!

— Бѣдное дитя! Бѣдная баронесса! Онѣ будутъ совсѣмъ компрометированы. И сколько родныхъ возстанетъ... Ужасно!

— Избѣжать, къ сожалѣнію, нельзя. Форма-съ!

— Но какая же цѣль? Вѣдь, все равно, всѣ эти труды окажутся ни къ чему... Нѣтъ ничего больше и кромѣ того, что я вамъ открыла. Тутъ все!.. Зачѣмъ же искать пустого мѣста?

— А для торжества и контроля правосудія. Форма-съ!

— Странно! И никакъ нельзя предотвратить?

— Никакъ, Софья Игнатьевна! Если бы дѣло замолчала полиція, — въ него легко можетъ вмѣшаться прокурорскій надзоръ, — и тогда репримандъ полиціи. Если промолчить прокурорскій надзоръ, — существуетъ на свѣтѣ жандармскій полковникъ...

Леневская сокрушительно вздохнула.

— Mon Dieu! Сколько у насъ властей! Ахъ, въ старину было все проще и лучше... Ну, будемъ надѣяться, что моя милая дѣвочка уже умница и не поставитъ насъ во всѣ эти непріятныя перспективы... Во всякомъ случаѣ, сердечное, душевное спасибо вамъ, excellence!.. У васъ золотое сердце!..

— Помилуйте.

— Нѣтъ, нѣтъ!.. Это рѣдкость!.. Столько гуманности... столько теплоты...

LXV.

— Ну, что? — встрѣтилъ губернаторъ полицеймейстера и Mathieu le beau, когда они прибыли отъ Лусьевой. Mathieu казался сконфуженнымъ, полицеймейстеръ былъ мраченъ.

— Полный отбой по всему фронту, ваше превосходитель-

ство! — заявилъ Mathieu. — Знать ничего не знаетъ, вѣдать не вѣдаетъ. Совѣмъ другой человѣкъ. Нельзя узнать противъ вчерашняго. Очнулась и ничего сама о себѣ и вокругъ себя не понимаетъ.

— Гм...

— Меня сразу признала, а Тигрія Львовича нѣтъ. „Помню, — говоритъ, — что-то, какъ въ туманѣ... Можетъ быть, и видала васъ когда-нибудь... Извините!.. Свѣтлыя пуговицы... Участокъ... Умоляю васъ: что еще я вчера натворила? Я знаю, что на меня временами находить... Какъ я здѣсь очутилась? Гдѣ тетунка Ландіо? Гдѣ тетунка Леневская?“.

— Гм...

— Мы ей напоминаемъ, — она только глаза открываетъ все шире и шире: ничего не помнитъ, ничего не разумѣетъ... „Это я говорила? Это я дѣлала? Боже мой! Какой ужасъ, какой позоръ, какая безстыдная, безумная ложь!..“ И опять слезы рѣками!.. Пришлось намъ угощать ее валерьяномъ, и лавровишневыми каплями, и ландышами... Тутъ, къ счастью, Софья Игнатьевна подѣхала. Мы ей дѣвицу эту и сдали съ рукъ на руки.

— Гм... Вчера и сегодня никто не навѣщалъ ея?

— Кромѣ Софьи Игнатьевны. Она за полночь сидѣла.

— Гм... Да-да-да... Такъ что ваше окончательное заключеніе?

— Врала и сумасшедшая! Несомнѣнно.

Полицеймейстеръ угрюмо промолчалъ.

— Вы что, Тигрій Львовичъ? — обратился на него вниманіе губернаторъ. — Въ сомнѣніи?

— Не то чтобы въ сомнѣніи, ваше превосходительство, а въ большой растерянности. Ужъ больно складно дѣвица вчера врала! Словно бы сумасшедшія такъ не умѣютъ.

— Ну, отецъ родной, на этотъ счетъ мы съ вами не судьи...

на то психіатры есть! Съ Тигульскимъ поговорите, если интересуетесь.

— О фамиліяхъ мы ее спрашивали, которыя она поминала вчера, — сказалъ Mathieu.

— Ну-съ?

— То же самое. Одни оказываются ей родня, — Рюлина эта, Брусакова, — а другихъ она уже не помнитъ... „Не знаю, говорить, откуда взялись? Должно быть, когда-нибудь въ какомъ-нибудь романѣ вычитала... не мучьте меня, ради Бога, вашими вопросами! Мнѣ такъ позорно и стыдно! Лгала! Все лгала! Всегда лгу, когда на меня находятъ!“.

— Вы въ „Фениксѣ“ хотѣли побывать? — обратился начальникъ къ полицеймейстеру.

— Былъ и номерного Василя допрашивалъ. Но онъ только глазами хлопаетъ... Ни при чемъ-съ! Лгала, дѣйствительно.

— Гм... А ночевала она у Карговичъ?

— Такъ точно, ваше превосходительство: у Карговичъ... Только осмѣлюсь доложить: Карговичи эти — люди очень подозрительные...

— Гм... Въ чемъ именно?

— Темная публика-съ. Отецъ бракоразводный ходатай, мать — мелкая ростовщица. Что у самого, что у самой рожи такія — словно таксы одушевленные-съ: на всякую, молъ, подлость готовъ, только дай настоящую цѣну. Изъ сыновей одинъ бить въ Соединенкѣ за нечистую игру-съ, другой выступалъ куплетистомъ въ кафешантанѣ, почти открыто живетъ съ старою майоршею тутъ одною, обираетъ ее, сутенеръ какой-то-съ. А дочка эта, которая, будто бы, госпожи Лусевой подруга, совсѣмъ на порядочную барышню даже и не похожа-съ... Завсегдатайница въ Грандъ-Отелѣ-съ, каждый вечеръ тамъ засѣдаетъ въ мужской компаніи. Больше съ банковскими путается,

изъ маленькихъ-съ... Откровенно сказать, — ежели судить по видимости, то я не госпожѣ Лусевой, но именно этой госпожѣ Карговичъ желтый билетъ охотно выдалъ бы...

— По видимости, Тигрій Львовичъ, сейчасъ судить нельзя. Теперь, знаете, пошли эти, какъ бишь ихъ, демивьержки... Такая мода въ обществѣ, чтобы приличная барышня вела себя хуже публичной дѣвки.

— Я понимаю-съ и обвинять госпожу Карговичъ на себя не беру-съ, ибо, кромѣ видимости, фактовъ противъ нея никакихъ выставить не имѣю-съ. Тѣмъ болѣе, что она, говорятъ, даже замужъ выходить — за банковскаго гуська одного. Помощникомъ бухгалтера служить. Дѣйствительно, въ Грандъ-Отелѣ онъ постоянно съ нею.

— Ага. Въ такомъ случаѣ, это его одного и касается. Его жениховское дѣло. Да-да-да... Знаете, эти банковскіе чиновники — всегда мелюзга дурного тона. Сидѣть компаніей въ кафешантанѣ имъ необыкновенно свѣтскимъ шикомъ представляется. Да, да, да. Поди, самъ же онъ и водить невѣсту по Грандъ-Отелямъ-то этимъ... Просвѣщаетъ. Съ европейскою культурою знакомить. Ха-ха-ха!

Полицеймейстеръ сурово усмѣхнулся.

— А потомъ, глядишь, въ банкѣ растрата, а у насъ — протоколъ о самоубійцѣ-съ!

— Да-да-да... Возможно, но непредотвратимо. Что? Да-да-да. Развѣ мы въ состояніи предотвратить, Тигрій Львовичъ?

— Гдѣ ужъ, ваше превосходительство! Ежели человѣкъ попалъ на півку, — судьба!

— Такъ — фактически-то эти Карговичи ничѣмъ не замараны?

— Нѣтъ, ваше превосходительство, — только долгомъ считаю повторить: по всему видать, что прохвосты.

— Ну, оцѣнка ихъ нравственныхъ качествъ сейчасъ въ

наши обязанности не входить. Главное теперь, чтобы без неясности въ дѣлѣ... Значить, фактъ ночевки у Карговичъ установленъ?

— Совершенно, ваше превосходительство. И сама признается, и Карговичи подтвердили, и извозчика я нашелъ и допросилъ, который привезъ ее отъ Карговичъ.

— Гм...

Губернаторъ задумался.

— Въ концѣ концовъ, какъ и слѣдовало ожидать, пустяки! Слава Богу, я очень радъ, что пустяки! все хорошо, что хорошо кончается. Эта бѣдная Ленева такъ волновалась... А баронесса смѣшна! Плачетъ, а смѣшна!.. Mathieu, вы какъ находите? Смѣшна вѣдь? А?

— Смѣшнѣе, ваше превосходительство, невозможно.

Вошедшій дежурный чиновникъ подалъ пакетъ.

— Отъ Софьи Игнатьевны Ленева.

Начальникъ прочелъ довольно длинное письмо, держа въ лѣвой рукѣ приложенные документы.

— Тигульскій велитъ имъ немедленно ѣхать за границу, въ Вѣну, къ Крафтъ-Эбингу какому-то... А хоть къ самому папѣ римскому, только бы съ рукъ долой!.. Да-да-да! Софья Игнатьевна проситъ о паспортахъ. Вы, Матвѣй Ильичъ, распорядитесь тамъ... заѣзжайте къ ней...

— Слушаю, ваше превосходительство. Смѣю спросить: ѣдутъ госпожа Лусьева и баронесса Ландіо?

— Нѣтъ, баронесса совсѣмъ расхворалась. Софья Игнатьевна беретъ для госпожи Лусьева компаньонку... какую-то госпожу Вурмъ. А эту бумажку, милѣйшій мой, приобщите къ дѣлу. Да-да-да!

Медицинское свидѣтельство, выданное Марьѣ Ивановнѣ Лусьева докторомъ Либесвортомъ, гласило, что госпожа Лусьева — пациентка его — въ теченіе пяти лѣтъ, вслѣдствіе хро-

нической женской болѣзни, страдает истерическимъ невропсихозомъ, выражающимся періодически, по преимуществу въ менструальные сроки, припадками быстротечнаго бреда, съ склонностью современемъ перейти въ *paranoia sexualis persecutoria*.

— Какъ? — воскликнулъ начальникъ, округляя веселые глаза.

— *Paranoia sexualis persecutoria*.

— А это какой звѣрь и чѣмъ его кормить?

— Не могу знать.

— Охъ, ужъ эти психіатры! Точно египетскими іероглифами пишутъ... Во всякомъ случаѣ, документъ цѣнный. Софья Игнатьевна обѣщала доставить такой же отъ доктора Тигульскаго. А затѣмъ — пусть ѣдутъ на всѣ четыре стороны... Какъ въ газетахъ пишутъ — инцидентъ исчерпанъ!.. До свиданія!..

LXVI.

— Тигрій Львовичъ, Тигрій Львовичъ! — догонялъ полицеймейстера *Mathieu le beau*. — Вы что же такой пасмурный?

— Не люблю-съ чувствовать себя въ тупикѣ и не понимать-съ.

— Но дѣло ясно, какъ день: сумасшедшая!.. Неужели вы еще сомнѣваетесь?

— Нѣтъ-съ, не сомнѣваюсь. Какъ же я смѣю сомнѣваться, коль скоро два документа!.. А только — воля ваша: тутъ есть что-то и кромѣ сумасшествія... Не чисто! Чуетъ мой полицейскій носъ...

— Позвольте! Но если за Лусьеву ручается сама Софья Игнатьевна?

— То-то вотъ, что Софья Игнатьевна! Въ ней вся препона. Кабы не Софья Игнатьевна, я бы никакимъ докторамъ не повѣрилъ... Не врутъ-сь сумасшедшіе такъ убѣдительно! не врутъ-сь! И вотъ помяните мое слово: я еще разъ говорю вамъ: не чисто!

— *Paranoïa sexualis persecutoria!*

— Да это что же? Это уже послѣднее дѣло говорить такими ехидными словами!... Для ихняго брата, ученаго, она, можетъ быть, и чрезвычайно какая большая штука, эта бисова паранойя, а ежели человѣкъ состоитъ на полицейской службѣ, ему одинъ чортъ — что паранойя, что наша руссiйская матушка-ерунда.

— Такъ что же, наконецъ? — возразилъ *Mathieu le beau*. — Еще не поздно. Если васъ грызутъ подозрѣнія, можно настоять...

Полицеймейстеръ замахнулъ руками.

— Что вы? Развѣ я къ тому? Заявленія свои госпожа эта безумная взяла обратно, документы оправдательные налицо. Сбыли сокровище съ рукъ, и слава Богу! Кума съ воза, — куму легче! Что я за вчинатель такой? (Русская полиція, крайне суровая къ низшимъ классамъ проституціи, какъ тайной, такъ и явной, столь же неохотно вмѣшивалась въ бытъ проституціи высшаго разряда, съ ея спотыкливыми и двусмысленными уликами тайнаго промысла. Играли здѣсь извѣстную роль взятки (дѣла полицеймейстеровъ: кронштадтскихъ — Шафрова и Головачева, николаевского — Бирилева, уральскаго — Саратовцева), но еще болѣе — осторожность столкнуться съ „звѣремъ не подѣ силу“, съ которою совершенно не считались разные *Andrieux* и имъ подобные парижскіе герои. У насъ не любили „влетать въ исторію“. Елистратовъ, 17—56, 290, 291. — Въ городахъ, гдѣ над-

смотреть за женщинами ускользаетъ изъ рукъ полиціи (Москва), послѣдняя обиженно начинаетъ не обращать вниманія на тайную проституцію вовсе. Тамъ же. — Идеаль полицейской регламентаціи — или все, или ничего. Проектъ московскаго оберъ-полицеймейстера отъ 1890 года требовалъ предоставленія полиціи власти вносить женщину въ проституціонные списки „помимо воли причисляемой“, со штрафами до 300 руб. и арестами до 2 мѣсяцевъ. Еще притязательнѣе были проекты генераль-адъютанта Трепова (петербургскаго градоначальника) отъ 1869 года, чиновника особыхъ порученій при варшавскомъ оберъ-полицеймейстерѣ, г. Тимофеева и т. п. Елистратовъ, 363—365.). Въ подобныхъ дѣлахъ надо дѣйствовать навѣрняка-съ, а не то — оступишься, да репутацію вывихнешь, что потомъ и не вправить! Вы вспомните, что эта госпожа Лусьева про связи своихъ хозяекъ съ полиціей рассказывала. Тутъ и самъ не замѣтишь, какъ глотнешь тебя какой-нибудь китъ этакій хуже чѣмъ Іону-пророка. Да — что Іона! Онъ, когда китъ его выплевалъ, человѣкомъ остался и опять въ пророки былъ опредѣленъ, а изъ нашего брата во чревѣ китовомъ что выйдетъ, даже неудобно назваться. Нѣтъ, ужъ гдѣ полицейскому чину благороднымъ негодованіемъ пылать и проявлять инициативы къ изысканію общественныхъ язвъ. Дѣлай, что велятъ, иди, куда пошлютъ, а въ прочемъ — своя рубашка къ тѣлу ближе-съ. И въ полиціи-то служить — не великъ сахаръ. Въ полицію человѣка нужда загоняетъ; когда больше дѣваться некуда, а плоть немощна — привыкъ сыто ѣсть, сладко пить, мягко спать. А ужъ если ухитрился сломать себѣ ногу даже на полицейской службѣ, — значить, тебѣ крышка. Дѣло кончено: заказывай гробъ, ложись да помирай. Всѣ твои житейскія карьеры, стало быть, свершились, и никому подъ луною ты болѣе не надобенъ, и не найдется ни одного такого добраго идіота, чтобы далъ тебѣ

трудъ и хлѣбомъ кормить тебя согласился... Нѣтъ, батенька! Не такъ устроена мать-полиція, чтобы въ нѣдрахъ своихъ междоусобною полемикою заниматься. Только въ томъ и секретъ бытія нашего, что — держись другъ за дружку и сосѣду мирволь и потрафляй.

— Къ тому же, — замѣтилъ *Mathieu le beau*, — даже и въ нашемъ городѣ вы оказались бы на очень неблагодарной почвѣ. Софья Игнатьевна употребляетъ всѣ усилія потушить эту темную исторію. А вы знаете: авторитетъ Софьи Игнатьевны... наша губернская королева!

— Боже меня сохрани идти противъ мнѣній и желаній Софьи Игнатьевны! Никогда-съ и ни за что-съ... Да и все равно мнѣ, въ концѣ-то концовъ-съ... А только я не люблю не понимать. Понять же не въ состояніи. Хоть зарѣжьте! И больше ничего-съ... Эге! Новый портсигарчикъ у васъ... Позвольте полюбопытствовать? Изящная вещица. Батюшка! да — никакъ золотой?

— М-м-м... да, кажется, — замычалъ нѣсколько сконфуженный и покраснѣвшій въ лицѣ *Mathieu*. Знаете, собственно говоря, пренеловкая штука вышла... Эта Лусьева, черезъ Леневскую, непременно просила меня принять отъ нея на память.

— Ага!

— Н-да... она, видите ли, такъ благодаря за мое человеческое къ ней отношеніе, говоритъ, что никогда не забудетъ, что я ее спасъ, ну, и всякія тамъ прочія хорошія слова... Я, конечно, отказывался, отпѣкивался, указывалъ, что мнѣ даже неприлично нѣсколько, похоже на взятку. Но вы знаете характеръ Софьи Игнатьевны: если она рѣшила, то поставитъ на своемъ, — отказывать ей трудъ напрасный... только наживешь врага.

Полицеймейстеръ потушился и вздохнулъ. Онъ почелъ из-

лишнимъ сообщать губернаторскому чиновнику, что часа два тому назадъ имѣлъ подобное же объясненіе съ тою же самою Софьею Игнатьевною Леновскою изъ-за чудесной вѣнковой коляски и сбруи на дышловую пару, которыми одарить его воспылала желаніемъ симпатичная баронесса Ландіо.

— Взятка! Какъ вамъ, Тигрій Львовичъ, не стыдно даже держать въ умѣ слова подобныя, не только что произносить? Другъ я вамъ или нѣтъ? Крестила я вашу Олечку или нѣтъ? Свой мы или чужіе? Развѣ я способна принять на себя порученіе, которое пахнетъ взяточкою? Развѣ у меня достало бы дерзости предложить вамъ — вамъ! — вамъ!! — взятку?! Наконецъ, позвольте сказать вамъ прямо: насколько я лично васъ люблю и уважаю, настолько же терпѣть не могу вашу службу и вашъ мундиръ. Да! да! да! можете почитать меня какою угодно неблагонадежною, даже хоть революціонеркою, но полицію я ненавижу! Съ моимъ прелестнымъ и милымъ кумомъ Тигріемъ Львовичемъ я готова бесѣдовать и дружить, сколько онъ самъ того пожелаетъ, къ полицеймейстеру — никакихъ дѣлъ не имѣю и не хочу имѣть. Когда говорите со мною, извольте выбросить изъ головы должность вашу. Взятка! Повернулся же языкъ — сказать! Ужъ если на то пошло, милостивый государь вы мой, то, погасивъ нашъ фамиліный скандалъ, вы оказали намъ такую огромную услугу, что, въ качествѣ взятки. бездѣлица, которую просить васъ принять баронесса, была бы просто смѣшна. Шантажистъ, взяточникъ, кровопійца могли бы разорить насъ на этомъ дѣлѣ, потому что честь фамиліи для насъ дороже всего, и пятенъ на своемъ гербѣ мы не допустимъ, хотя бы намъ для того пришлось остаться нищими. И это вамъ лучшее доказательство, что никто не хочетъ унижить васъ взяточкою, какъ никто изъ насъ — ни я, ни бѣдная Маша — не желаемъ считаться съ вашимъ всемогущимъ полицеймейстерствомъ. Предоставляемъ другимъ трепетать предъ

вашимъ величіемъ. Для насъ оно не существуетъ. Въ нашихъ глазахъ вы просто симпатичный, гуманный, чуткій, отзывчивый Тигрій Львовичъ, который умѣлъ такъ рѣдко по-человѣчески отнестись къ нашему несчастію и, какъ чудомъ, спасти наше имя отъ грязныхъ клеветъ и сплетенъ. И вотъ мы, три дамы, хотимъ, чтобы вы сохранили объ этомъ случаѣ памятку нашей благодарности. Вотъ и все. И—никакихъ возраженій! Иначе мы поссоримся. Мѣщане мы развѣ, чтобы дѣлать вопросы изъ пустяковъ, считается другъ съ другомъ въ услугахъ, искать подозрительныя причины за каждой любезностью? Не надо спорить! Развѣ могутъ быть два разныхъ мнѣнія о мелочахъ подобныхъ у двухъ друзей, принадлежащихъ къ нашему кругу — людей порядочныхъ и взаимно уважающихъ?

Вечеромъ въ клубѣ полицеймейстеръ отвелъ доктора Тигульскаго въ уголокъ и осадилъ его вопросами о Лусевой. Докторъ, лысый, въ русой, круглой бородкѣ, съ прямымъ польскимъ носомъ, смотрѣлъ въ лицо полицеймейстера проникающими, но непроницаемыми сѣрыми глазами, и говорилъ медленно, съ лютымъ акцентомъ и съ удареніями на предпоследнемъ слогѣ каждого слова:

— Та-акъ... Ото-жъ правда... То есть правдивѣйшая *paranoia sexualis persecutoria*. А ежели то бендзе мило пану пулковнику, можетъ быть также *dysnoia deliriosa*, якъ пишетъ профессоръ Корсаковъ зъ Москвы. То есть южъ други недугъ, але вамъ то есть вшистко едно, муй пане, бо, гдзѣ тыя *paranoia* кончается, гдзѣ начинается *dysnoia*, того не тылько панъ полицеймейстеръ, сами дяблы въ пеклѣ не могомъ домыслиць, ежели не учились медицинѣ.

— А вы можете домыслить? — не безъ обидчивой свирѣпости спросилъ Тигрій Львовичъ.

Докторъ обдалъ его дымомъ благовонной сигары и спокойно возразилъ:

— А якъ же? Ежели я вижу дефектъ координаціи жестувъ?... И въ лицѣ така ассиметрія?... Тожъ *paranoia*, муй пане, якъ пана Бога кохамъ! А, може, *dysnoia*, чи еще друга якась болѣсь... Огульне пане, — маниакальна екзальтація!...

LXVI.

Курьерскій поѣздъ шелъ послѣднимъ перегономъ на Броды. Въ купѣ перваго класса пожилая скромно одѣтая дама и нарядная молодая дѣвушка считали деньги.

— Итакъ, — сухо говорила пожилая дама, — я передала вамъ двѣ тысячи золотомъ, три бумажками и пять тысячъ переводъ на Ліонскій кредитъ.

— Совершенно вѣрно! Покуда — мы въ полномъ расчетѣ.

— Двѣсти рублей по уговору будутъ переводиться вамъ cadaго пятнадцатаго числа.

— Очень хорошо. Число мнѣ безразлично, но прошу быть аккуратными, чтобы день въ день. Въ первый же разъ, что я не получу денегъ, я ѣду въ Петербургъ и прямо на Гороховую... Поняли? Такъ и передайте!

— Не пугайте, пожалуйста. Не изъ робкихъ. И не безпокойтесь. Будемъ аккуратны. Вы и безъ того уже сдѣлали слишкомъ много непріятностей и принесли убытковъ.

— Не такъ бы васъ всѣхъ еще слѣдовало! — со злобою сказала дѣвушка. — Только то васъ спасаетъ, что я въ деньгахъ дура и большихъ суммъ воображать не умѣю.

— Порядочно счистили и безъ того! Надо имѣть совѣсть!

— Да! Ужъ о совѣсти только намъ съ вами считается... Хорошенькія цацы! нечего сказать!... Да вотъ еще развѣ — дамѣ этой великолѣпной губернской, тетущкѣ моей новоявленной... Вотъ фруктъ, такъ фруктъ! Много я пройдохъ видала,

а эта — всѣмъ звѣрямъ звѣрь! Всѣхъ вокругъ пальца обвела, спутала и въ тушикъ посадила! И какъ вы ее раздобыли?

— Наше дѣло.

— А что? Много она съ васъ слушила?

— Наше дѣло, — еще холоднѣе возразила пожилая дама. Дѣвушка захохотала.

— Докторъ тоже этотъ, котораго она привозила... теплый парень! Ассиметрію лица у меня какую-то нашелъ... У самого-то у него теперь ассиметрія... только не лица, а кармановъ!... Да! А какимъ это чудомъ отъ Либесвортишки свидѣтельство явилось?!

— Не все ли вамъ равно?

— А-га! Фальшивое, значить? Поддѣлали? Славно! Ну, не сообразила я тогда... не на десяти бы тысячахъ мнѣ съ вами мириться!

Дама съ досадою возразила:

— Ошиблись. Никакой фальши, и никто ничего не поддѣлывалъ. Самое настоящее свидѣтельство.

— Съ неба вамъ свалилось?

— Не съ неба, а съ вами же пріѣхало изъ Петербурга. Такія свидѣтельства Либесвортъ выдаетъ всѣмъ воспитанницамъ Прасковьи Семеновны, когда онѣ ѣдутъ на работу въ провинцію... заранѣе, — чтобы предупредить скандалъ, если онѣ, вродѣ васъ, вздумаютъ буйствовать... понимаете?

— Ловко! — поразила Лусьева. — Такъ всѣмъ?

— Всѣмъ.

— И Княжнѣ, и Жозѣ?

— Всѣмъ.

— Ловко... Небось, и за это надо платить аспидовы деньги?

— Да, дереть... — съ невольнымъ уныніемъ призналась дама. Лусьева злобно улыбнулась:

— Трещить у Буластихи шкура!...

— А вы не злорадствуйте! Ежели челоѡѡкъ въ незадачной полосѣ...

— Чтобъ ей, дьяволу, вѣчно такая полоса шла!...

— Что ругаться? Дѣло прошлое.

— Ужъ очень ненавижу! Дрянъ я слабодушная! На чистый паспортъ и деньги польстилась. Кабы настоящій характеръ, самой бы лучше пропасть, да и васъ всѣхъ въ Сибирь упечь!

— Ужъ и въ Сибирь! На первый разъ — всего только къ мировому и сто рублей штрафу.

— Неужели? Ахъ, скажите, пожалуйста!... — насмѣшливо передразнила дѣвушка. — Зачѣмъ же вы отъ ста рублей откупаетесь тысячами?

— Затѣмъ, что языкъ у васъ слишкомъ длиненъ. Сибирь — не страхъ, а вы могли привести, да уже и привели было въ разстройство все дѣло. Ну, и еще разъ напоминаю вамъ, Марья Ивановна: довольно! Поболтали въ свое удовольствіе, — и будетъ. Свое выболтали, на замазку рта получили, обезпечены по гробъ жизни, — теперь сидите въ заграничѣ смирно, тише воды, ниже травы, чтобы о васъ ни слуха, ни духа. Не то — васъ не только что въ Вѣнѣ или гдѣ тамъ еще — на днѣ морскомъ достанемъ!... Сами не замѣтите, какъ тихою смертью умрете!

— Не коротки ли руки?

— Васъ, голубушка и сейчасъ очень легко можно бы сплавить, и гораздо это дешевле, чѣмъ торговаться съ вами и заграницу васъ отправлять. Только то боязно, что — кто ихъ знаетъ? Можетъ быть, за вами еще слѣдятъ... Уроловщина теперь, послѣ вашей огласки, — благодарите своего Бога! — намъ не съ руки... А то — оно очень просто! Вы это понимаете! Не форсите!

— Я ничего.

— А смѣтаете чему?

— Прасковья Семеновна наладетъ баронессѣ по первое число!

— Въ этомъ не сомнѣвайтесь! Расправа будетъ по праву.

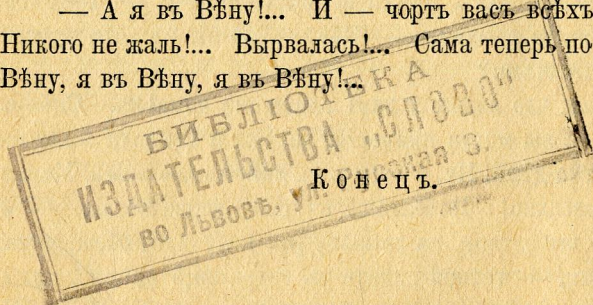
— И Аннѣ Тихоновнѣ влетитъ!

— И Аннѣ Тихоновнѣ.

— Такъ и надо! Такъ и надо! Жрите другъ друга здѣсь, волки поганые!

Дѣвушка бѣшено захохотала и захлопала въ ладоши.

— А я въ Вѣну!... И — чортъ васъ всѣхъ тутъ дери!... Никого не жаль!... Вырвалась!... Сама теперь по себѣ... Я въ Вѣну, я въ Вѣну, я въ Вѣну!...



Конецъ.

**Сочиненія, которыми провѣряна „Марья Лусьева“ въ
бытовой части.**

- Елистратовъ, А. О прикрѣпленіи женщинъ къ проституціи. (Врачебно-полицейскій надзоръ.) Казань. 1903. Тутъ же превосходный указатель иностранной литературы по вопросу.
- Маргуліе съ, М. С. Регламентация и свободная проституція. Спб. 1903.
- Мартинъ. Тайная проституція. 2-е русское изданіе. Спб. 1887.
- Ахшарумовъ, Д. Д. Проституція и ея регламентация. Рига. 1889.
- Покровская, М. И. Врачебно-полицейскій надзоръ за проституціей способствуетъ вырожденію народа. Спб. 1902.
- Обозненко, П. Е. Поднадзорная проституція С.-Петербурга по даннымъ врачебно-полицейскаго комитета и Калинкинской больницы. Спб. 1896.
- Грязновъ, К. Ф. Публичныя женщины. М. 1901. (Рыночная компиляция!)
- Федоровъ, А. И. Позорный промыселъ. Спб. 1900.
- Кузнецовъ, Михаилъ. Проституція и сифилисъ въ Россіи. Спб. 1871.
- Гиршъ. Преступленія и проституція какъ социальныя бѣдствія. Спб. 1898.

- Золотаревъ. Личная и общественная борьба съ развратомъ. М. 1900.
- Максъ Груберъ. Проституція съ точки зрѣнія соціальной гігіены. Одесса. 1902.
- Дальтонъ. Соціальный недугъ. Къ вопросу о проституціи и о пріютахъ св. Магдалины. Спб. 1884.
- Корнигъ, Т. Г. Гигіена цѣломудрія. (Пер. Н. Лейненберга.) Одесса. 1890.
- Ломброзо и Ферреро. Женщина преступница и проститутка. Пер. Гордона. 2-е изд. Кіевъ. 1902.
- Отто Генне-Амъ-Ринъ. Недостатки современнаго полицейскаго надзора за общественною нравственностью. Пер. Гордона. Спб. 1900.
- Продажа дѣвушекъ въ дома разврата и мѣры къ ея прекращенію. М. 1897. (Изд. Живарева. Рыночная компиляція.) Живарева.
- Parent Duchatelet A. J. B. De la prostitution dans la ville de Paris. 3-me éd. par A. Trebuchet Poirat Duval. Paris. 1857.
- В. В. Авчинникова. Взглядъ профессора Тарновскаго на проституцію. 1904.
- Frégier. Des classes dangeureuses de la population dans les grandes villes et des moyens de les rendre meilleures. Paris. 1840.
- Prof. В. Ball. Эротическое помѣшательство. Лекціи, записанныя dr. Lefevr'омъ. Переводъ А. А. Яковлева. Харьковъ. 1887.
- L. Martineau. Leçons sur les déformations vulvaires etc. 1884.
- Крафтъ Эбингъ. Судебная психопатологія. Переводъ А. Черемшанскаго. 1897.

- Antonino Cutrera. La Mala Vita di Palermo. 2-a edizione. Palermo. 1900.
- Dr. O. Commenge. La prostitution claustrale à Paris. 2-me éd. Paris. 1904.
- А. Л. Рубиновскій. Повинность разврата. Спб. 1905.
- А. Л. Рубиновскій. Концентрація проститутокъ. Спб. 1905.
- Prof. Bettmann. Die ärztliche Ueberwachung der Prostituierten. Jena. 1905.
- Dr. Канкаровичъ. Проституція и общественный развратъ. Спб. 1907.
-

Сочиненія Александра Амфитеатрова,

вышедшія отдѣльными изданіями за рубежомъ

въ 1922—1928 г. г.

Зачарованная Степь. Изд. „Библіофилъ“. Ревель.

Василій Буслаевъ. Изд. „Библіофилъ“. Ревель.

Восьмидесятники. Романъ въ двухъ томахъ, четырехъ частяхъ. 6-е изданіе. Кн-во „Грани“. Берлинъ.

Сестры. Романъ-хроника.

Романъ первый. Г н ѣ з д о. 3-е изд. Кн-во „Грани“. Берлинъ.

Романъ второй. Непосѣда. Кн-во „Грани“. Берлинъ. (въ двухъ частяхъ).

Горестныя Замѣты. Очерки „Красн. Петрограда“. Кн-во „Грани“. Берлинъ.

Безъ Сердца. Романъ. Кн-во „Грани“. Берлинъ.

Побѣгъ Лизы Басовой. Кн-во Гутнова Берлинъ.

Мечта. Кн-во Гутнова. Берлинъ.

Лиляша. Романъ. Кн-во „Граматы Другъ“. Рига.

Въ печати:

Вчерашніе Предки. Романъ въ пяти частяхъ. Кн-во бр. Филоновыхъ, Новый Садъ.

Знакомыя Музы. I. Талія. Кн-во „Возрожденіе“. Парижъ.

Готовятся къ печати:

Сильныя и слабыя. Повѣсти и рассказы.

Одержимая Русь. Книга легендъ.

Викторія Павловна. Романъ. 7-е изданіе, переработанное и значительно дополненное.

Знакомыя Музы. II. Мельпомена. III. Полигимнія.



5, 6 + (1986)

(3p-)

КУПОНЪ
для получения преміи
№ 18.

Къ книгѣ Александра Амфитеатрова
„Марья Лусьева.“

Собирайте наши купоны для получения преміи

Дабы еще болѣе заинтересовать нашихъ г-дъ подписчиковъ, мы рѣшили въ этомъ году, несмотря на крайнюю дешевизну нашихъ изданій, дать нашимъ подписчикамъ еще и

КОЛОСАЛЬНЫЯ преміи.

Въ каждой книгѣ „Б. Н. Л.“ начиная съ книги № 25 — 48, выходящихъ съ 5. февр. 1928 г. — по 20 января 1929 г. будетъ находиться купонъ для получения преміи.

Собравшій всѣ 24 купона по предъявленію ихъ въ конторѣ издательства или за границей у представителей, получить папку

съ многокрасочными репродукціями картинъ извѣстнѣйшихъ художниковъ числомъ 6—7.

Репродукціи эти будутъ большого размѣра и наклеены каждая въ отдѣльности на толстый художественный картонъ.

Цѣль премій возбудить въ читателяхъ еще болѣе интересъ къ книгѣ.

Книга должна побѣдить многія нежелательныя явленія въ нашей обыденной жизни.

Купонъ сохранять и носить въ карманѣ книги № 48 прилагать весь купонъ въ издательство или къ представителю. Вырывать весь листъ.



2536

253